Саша Бакушкина,
Катерина Глинистая, Аметисса Грэсс,
Екатерина Доу, Татьяна Князева, Иван Никитин,
Марийка Потапович, Дарья Соловей,
Анастасия Черткова

Хтонь за околицей



рассказы

МИФ

Хтонь за околицей

Саша Бакушкина, Аметисса Грэсс, Катерина Глинистая, Екатерина Доу, Татьяна Князева, Иван Никитин, Марийка Потапович, Дарья Соловей, Анастасия Черткова

Аннотация
Саша Бакушкина, Аметисса Грэсс, Катерина Глинистая, Екатерина Доу, Татьяна Князева, Иван Никитин, Марийка Потапович, Дарья Соловей, Анастасия Черткова. Хтонь за околицей
Предисловие
Анастасия Черткова. Три дня до весны
Иван Никитин. Тропический иней, или Биндас
Екатерина Доу. Трое в машине, считая собаку
Марийка Потапович. Свадебное платье
Аметисса Грэсс. О верных крысах и коварных героях
Катерина Глинистая. Барматошка
Саша Бакушкина. Словарь туманов и забытых окончаний
Дарья Соловей. Лесин край
Татьяна Князева. Огонёк на краю болота

Над книгой работали

Аннотация

Сборник рассказов о белорусских мифических существах. Удивительный (и немного пугающий) мир хтони за деревенской околицей. Мистические истории о волколаке и мавке, гаевке и скарбнике, созданные в рамках коллаборации с сообществом «Шуфлядка Писателя».

Каждый из нас хоть раз мечтал сбежать от городской суеты – что может быть лучше деревенской романтики с уютными домиками и такой родной околицей. Вот только… Что это шуршит за печкой? Чья тень караулит в лощине припозднившегося путника? И почему случайный знакомый выглядит как… не совсем человек?

В деревнях до сих пор ходят легенды о нечисти, которая живет бок о бок с людьми. Это местами уютные, местами жуткие истории, но везде хтонь пугает, защищает, а иногда ревнует людей. В этом сборнике – девять рассказов по мотивам белорусского фольклора, в которых волколаки рыщут по округе, Подвей норовит отменить весну, а почтальон-анчут-

ка спасает забытые слова.

Прислушайтесь к шороху за печкой – может, это вас приветствует доброхожий?

Для кого эта книга

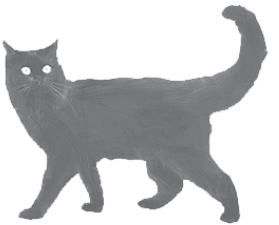
Для любителей деревенской мистики и фольклорного хоррора.

Для ценителей белорусской мифологии и забытых суеверий.

Для тех, кто ищет атмосферную книгу – себе или в подарок.

Саша Бакушкина, Аметисса Грэсс, Катерина Глинистая, Екатерина Доу, Татьяна Князева, Иван Никитин, Марийка Потапович, Дарья Соловей, Анастасия Черткова

Хтонь за околицей



Книга не пропагандирует употребление алкоголя и табака. Употребление алкоголя и табака вредит вашему здоровью.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Бакушкина С., Грэсс А., Глинистая К., Доу Е., Князева Т., Никитин И., Потапович М., Соловей Д., Черткова А., 2026

© Составительство. Кучинская А., Стрингель Е., Айкон Н., 2026

© Оформление. ООО «МИФ», 2026

Предисловие

Вы знаете, зачем нужно посмотреться в зеркало, если забыли что-то дома и вернулись? По одному поверью, в каждом доме живет домовой, и, если мы внезапно возвращаемся, это может нарушить его покой и вызвать недовольство. Поверье старо как мир, но даже в эру высоких технологий, искусственного интеллекта и роботов-пылесосов мы каждый раз неизменно заглядываем в зеркало, вернувшись за забытыми вещами. А то мало ли что.

В Беларуси по сей день сохраняется множество любопытных поверий, легенд и суеверий. Например, нельзя передавать вещи через порог, но при этом жених по традиции переносит через него невесту. Нельзя свистеть дома. А если там все же происходит неладное — нужно обязательно поставить стакан молока для домового, чтобы задобрить. В Купальскую ночь неизменно прыгают через костер, плетут венки из ароматных цветов, а потом, затаив дыхание, пускают их по воде и наблюдают, как те поплывут. Утонут — ждать беды, прибьются к берегу — суженый живет со-

всем рядом, поплывут ровно и далеко — все будет хорошо. В Купальскую же ночь по лесам и болотам ищут папараць-кветку. Большая удача ждет того, кто на пути встретит прекрасную лесную деву — гаевку, внучку гаевого деда. Она знает, где растет волшебный цветок, и обязательно поможет его найти.

Белорусский фольклор богат, бестиарий отличается многообразием, а сами существа — трудолюбием. Они неукоснительно выполняют все свои обязанности, будь то помощь людям или вредительство. Местные духи часто приземленные, и даже самые сильные из них запросто могут обитать за печкой, в бане, в болоте, разгуливать в виде кота, разносить почту и следить за сохранностью древних реликвий.

В наших краях до сих пор передают из уст в уста истории о незримых обитателях домов, рассказывают, кого можно встретить за околицей, а кого лучше остерегаться и что нужно делать, чтобы избежать нежеланной встречи.

В этой книге собраны девять рассказов, авторы которых показали многообразие представителей белорусского бестиария. Локации выбраны нестоличные, чтобы суета большого города не мешала расслышать шепот болот и лесов, а также

разглядеть в случайных попутчиках мифических существ. Для лучшего их понимания авторы погрузят вас в разные эпохи и воссоздадут атмосферу былых времен.

На этих страницах вам повстречаются волколак, мавка, Биндас, гаевка, скарбник, багник, Варгин, кадук, доброхожий, Подвей и другие. Если вы не поняли ни слова из перечисленного — значит, пора скорее приступать к чтению и знакомиться с этими удивительными, иногда жутковатыми, но крайне обаятельными мифическими существами. Перед каждым рассказом вы увидите короткую справку, из которой узнаете о хтонических персонажах и их особенностях.

Как и над первым сборником «Призраки старого кладбища», над созданием «Хтони за околицей» работали сразу три команды: сами авторы, сотрудники издательства МИФ и соосновательницы сообщества «Шуфлядка[1] Писателя». И если вы еще не слышали о последних, самое время представиться.

«Шуфлядка Писателя» — это белорусское сообщество современных писателей, которое

---

[1] Примечания: 1

Шуфлядка (*бел.*) — выдвижной ящик стола, комода или шкафа. Именно там белорусские авторы хранят свои рукописи до того, как они окажутся опубликованными. *Прим. сост.*

основали Алена Кучинская, Екатерина Стрингель и Ника Айкон. Нашей изначальной целью было объединить авторов из Беларуси в теплое и поддерживающее комьюнити. В данный момент оно насчитывает более двухсот семидесяти авторов и непрерывно растет. Мы стараемся помогать авторам дотянуться до читателей, а читателям — узнать о прекрасных белорусских писателях.

А теперь присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к знакомству с удивительным миром хтони, которая обитает за белорусской околицей.

В добрый путь!

С любовью,
соосновательницы «Шуфлядки Писателя»

Алена Кучинская, Екатерина Стрингель, Ника Айкон

Анастасия Черткова. Три дня до весны



Анастасия Черткова

Три дня до весны



Дух, который кружится как вихрь, – Подвей – воплощает собой непогоду, способную погубить человека или наслать на него болезнь. Это существо было описано в знаменитом стихотворении «Подвей» белорусского классика Максима Богдановича.

Три дня до весны

Варваре этот мир был абсолютно понятен. Вот только до покоя и умиротворения оставалось еще три дня, а она не знала, где взять сил, чтобы пережить последние зимние холода.

Истошно завопил будильник. Варвара с трудом разлепила веки, высунула руку из-под одеяла и тут же втянула ее обратно, едва нащупав телефон. Огонь в печи к утру погас, и воздух в комнате совсем остыл.

Ладонь машинально скользнула по пустой половине кровати, сердце сдавило от тоски.

Я же вернусь, Варь. Помни об этом.

Она и помнила. А потому перестала себя жалеть, рывком встала и, не давая себе ни секунды на раздумья, на цыпочках пробежала к печи.

Ну вот и куда ты босиком по холодному?

Представив обеспокоенный голос мужа, поме-

няла траекторию. Выхватила из шкафа шерстяные носки, связанные соседкой еще в ту первую зиму, когда Варвара переехала в Круглое[2], и тут же надела на замерзшие ноги. Подумала и натянула поверх вторую пару.

Тьму в доме разгонял одинокий уличный фонарь, кособокий прямоугольник его света падал аккурат на старенькую печь. Варвара открыла заслонку, набросала щепы, скомканных конспектов, сунула сверху полено и подожгла.

— Ну, давай… — тихо подбодрила она крошечный огонек.

Тот ответил сухим треском и лениво начал разгораться. У Кирилла всегда получалось обогреть дом быстрее. Снова вспомнив о муже, Варвара достала его старый свитер и, прежде чем надеть, подышала немного в колючую ткань.

Скоро вернется.

Чайник еще не успел закипеть, а она уже обновила руны на полу и села за стол проверять сочинения по творчеству Богдановича. Работы были неплохие. Лишь над последней из них Варвара ненадолго задумалась: считать слово «краш» ошибкой или творческим подходом? Она пробе-

---

[2] Примечания: 2

Город Круглое, Могилевская область. *Здесь и далее примечания автора.*

жала глазами по отрывку из стихотворения:

Пляша, скача. Снег зрываецца, ляціць,
Веюць у полі снегавыя рукава,
А Падвей нясецца, кружыцца, гудзіць,
Запявае, удалая галава![3]

— Голова-то удалая, — согласилась Варвара, подчеркнула красной ручкой англицизм и вздохнула: — Только разбираться со всем потом мне приходится.

В ответ пол в комнате мелко задрожал.

— Да что ж такое… Я всего час назад руны обновила. Успокойся.

Но запертая в погребе нечисть не послушалась — раздался низкий протяжный вой. Подвей[4] уже устал сидеть под замком.

— Свирепеет снежная буря. — Крохотная тень отделилась от шкафа.

Петька обычно спал в углу, поближе к теплому боку печи и подальше от подвального люка. Маленький, худой, покрытый короткой шерстью, с ушами, которые жили своей жизнью — одно

---

[3] Примечания: 3

Фрагмент стихотворения «Падвей» Максима Богдановича.

[4] Примечания: 4

Персонаж белорусской мифологии в виде злобного снежного вихря. В контексте рассказа — дух снежной бури.

настороженно торчало вверх, второе лениво свисало — хохлик[5] походил на странную смесь хорька и летучей мыши. Он почесал затылок копытцем, разлохматив и без того стоящие дыбом волосы, и с опаской уставился в пол.

— Если вырвется Подвей, то вдвоем с тобой не остановим.

В последние дни Масленичной недели дух зимней стужи становился особенно лютым. Варвара весь февраль спала урывками, по несколько часов за ночь — стерегла люк. Шептала заговоры, дула в костяную свистульку, пела колыбельные — лишь бы Подвей не вырвался на свободу. С первым мартовским днем сила его иссякнет, но до этого он успеет натворить бед, если выберется.

Если.

Варвара снова присела возле подрагивающего деревянного люка. Мел тихо заскрипел по доскам: сначала надо поправить круг.

– Крючком цепляю — выходы тебе закрываю… — бормотала она, прорисовывая вдоль тонкой линии петельки.

Когда невидимые цепи окрепли, Подвей еще пуще завыл.

---

[5] Примечания: 5
Персонаж белорусской мифологии; помощник домового.

– Спиралью стягиваю — заплутаешь да путь потеряешь… — Виток за витком, и вот защитный символ готов.

Голос зимней стужи затихал.

– Злые духи пусть под землей сидят, а добрые под солнцем ясным ходят. Так было, так есть и так будет.

Пол больше не дрожал.

Варвара замерла, прислушиваясь, но Подвей затаился. Тогда она молотком вбила обратно шляпки гвоздей, показавшиеся над половой доской, да так и осталась сидеть на полу, обняв колени. Она сама себе напоминала хрусткий, ноздреватый лед: только тронь — сломается.

— Знаешь, я что-то даже немного струхнул. — Петькин пятачок высунулся из-за угла.

У ведуньи самой колотилось сердце.

«Если уж кто и справится, то только ты, душа моя», — мысленно услышала Варвара голос Кирилла.

И то верно.

Осталось три дня и три ночи. Она выдержит.

Ведунья вытерла вспотевшие ладони о свитер, оглядела стол, заваленный тетрадями; окно, за которым с немым укором смотрел на нее в ответ заметенный за ночь двор, и шумно вздохнула:

«Сначала кофе».

Как и ее мать — а до нее бабка, а до нее прабабка и еще много таких «пра», — Варвара была ведуньей. Для всех учительница белорусского языка и литературы, вот уже три года она стерегла Круглое от всякой нелюди: добрым духам помогала, злых отваживала.

Без нужды Варвара нечисть не трогала. Знала, что большинство из них не пакостит, пока люди сами к ним не полезут; а потому считала, что лучше договориться или припугнуть. Палками прогнать всегда успеется — сложнее сохранить нейтралитет.

Другое дело Подвей. Если в начале зимы дух стужи лишь гонялся за неудачливыми путниками, чтобы закрутить их в вихре и укусить за нос, то под конец, ближе к весне, морозил насмерть.

Ночь уже истончилась, и пока первые робкие лучи не позолотили крыши домов, Варвара снова села за сочинения, а Петька, неуклюже подхватив копытцами лопату, вышел на улицу чистить дорожки. Не то чтобы он любил возиться в предрассветной темноте, просто ведунье не хотелось объяснять любопытным соседям, почему снег убирает сам себя.

— За рунами следи, — строго напомнила Варвара, собираясь на работу. — И если брыкаться начнет…

— Да знаю я, Варь. — Петька закатил глаза, смахивая с полок пыль огромным розовым пипидастром. — Заговор помню, руны обновлю.

— И посмотри, кто…

— …кусты повадился обгрызать. Ага.

— И из запасов…

— …полыни сушеной достань. — Хохлик раздраженно взмахнул пипидастром в сторону двери. — Ой, да иди уже учеников своих кошмарь.

Ну, Варвара и пошла.

Едва открыла дверь, нос к носу столкнулась с соседкой и чуть не поскользнулась на обледеневших ступеньках.

— С кем это ты беседы ведешь? — Степанида Семеновна с любопытством попыталась заглянуть в щель, но Варвара тут же захлопнула дверь и заперла на замок. — Кирилл, что ли, вернулся?

В груди снова кольнуло, да сильнее, чем щеки от мороза.

— Нет, сама с собой разговариваю, — вяло отмахнулась Варвара. — А вы чего в такую рань? За настоем? Заболел кто?

— Ой, что ты, нет, дорогуша. — Степанида Семеновна сплюнула три раза и вразвалочку сошла со ступенек. — На чай зайти хотела, поболтать.

«Посплетничать», — перевела про себя Варвара и последовала за ней.

В голове энергичной соседки хранилась целая картотека: Степанида регулярно пополняла ее новой информацией, которой охотно делилась со всеми. За это ее прозвали Степашей, шутили, что уши у нее как у кролика: с виду обычные, а сплетню чуют за версту.

— В школу собралась? — продолжила Степанида, поправляя на голове пучок волос насыщенного баклажанного цвета. — Пройдусь с тобой.

Закрывая за собой калитку, Варвара уловила мимолетное движение где-то между смородиновых кустов. Прищурилась, но никого там не увидела: то ли почудилось, то ли кот соседский пробежал.

Степанида без умолку болтала. С каждым словом изо рта у нее вырывалось облачко пара — несмотря на то, что весна была уже на пороге, зима не сдавалась без боя.

«*Воротник поправь, простудишься же*», — так бы сказал Кирилл.

«Лучше б ты рядом был, советчик мой», — с

грустью подумала Варвара, и все же послушно застегнула пуговицы, спрятала нос под шарф.

— Глянь-ка! — Степанида ткнула пальцем в ближайшие кусты. — Ну, зайцы, ну, паскудники!

Там, на коре у самых корней, белели отметины то ли от зубов, то ли от когтей. Только, в отличие от соседки, Варвара могла видеть еще и клочки черной шерсти, зацепившиеся за обломанные ветки. И под белый шум из Степанидиных негодований она задумалась: среди местной нечисти похожих не водилось.

Эта мысль еще больше подпортила настроение. Совсем ведунья город запустила, пока с Подвеем возилась. Петька рассказывал, что и русалок уже замечал — повылазили из проруби, чтобы погреть брюхи в солнечных лучах…

Вот и справляйся со всем одна.

— Я ж не просто так тебя искала, дорогуша! — Степанида остановилась, прерывая размышления Варвары. — Просьба у меня есть. Племянницу мою, Катьку, погостить привезли.

— Как она? — осторожно спросила Варвара.

Соседка вздохнула.

— Ну, что тебе сказать… Она еще не все понимает, семь годков только летом исполнится. А вот сестра моя с мужем пока не оправилась.

Ведунья кивнула. Словами тут не поможешь, а воскрешать из мертвых она не умела.

— Так. А я вам зачем нужна?

— Ты ж учительница. Может, у тебя книжки какие есть? Сказочки, раскрасочки, ну, что там детям нравится. Принесешь, а?

Варвара не стала объяснять, что преподает она у девятых и одиннадцатых классов, которые и сами те еще сказочники, когда домашку не сделают, поэтому просто пообещала Степаниде взять пару книг из младшей школы. Мысленно сделала себе пометку: послать к соседке Бая[6], чтобы ребенку спокойно спалось. Договориться с добрым духом труда не составит, особенно если в доме есть бобруйский зефир.

— Ты перед работой заходи. Заодно с дитем пообщаешься. — Степанида подмигнула. — Кирилл-то, кстати, когда из Мурманска прибудет?

— Вахта уже заканчивается. Через два дня должен приехать.

— Небось скучаешь? — сочувственно спросила соседка, и Варвара кивнула. — Ну, гляди-ка, прямо в Прощеное воскресенье вернется. Блинов ему напеки. Давно созванивались-то?

---

[6] Примечания: 6
Персонаж белорусской мифологии, поет детям колыбельные.

— Ой, давно… — задумчиво ответила Варвара, и тяжесть от долгой разлуки надавила на плечи. — Занятой он очень. Да и связь…

— А про Людкиного мужа слыхала? — с блеском в глазах перебила Степанида. — На Таймыр на заработки уехал. И что ты думаешь?

Варвара ничего не думала. Она молча ждала, пока соседка выдохнется и перестанет тарахтеть, но та, казалось, работает на вечном двигателе. Поезд сплетен летел со скоростью света по проложенным Степанидой рельсам, и одна за другой из него сыпались истории: про моряков, которые нашли себе «береговых»; про полярников, которые «оттаяли» не в той постели; про вахтовиков, которые не вернулись…

И так бы продолжалось до самой школы, если бы ее не прервал голос:

— Доброго утра, уважаемые дамы!

Дамы вздрогнули. Недалеко от них, немного расхристанный — ушанка набок, пальто без пуговиц — стоял Анатолич. Он тоже был своего рода вахтовиком — каждое утро дежурил под дверями местного магазина.

— Покорнейше прошу простить меня за столь раннее вторжение! — Говорил Анатолич всегда торжественно и учтиво, но с весьма жуликова-

тым видом. Щеки и нос его алели совсем не от мороза. — Не найдется ли у вас, благороднейшие, пару рублев на хлеб?

«Ага, на хлеб, как же…» — недовольно подумала Варвара, глядя, как сердобольная Степанида уже достает из кармана монеты.

— Доброго здравия, сударыня, пусть очи ваши сияют!

Степанида зарделась. Варвара, скептически приподняв бровь, наблюдала, как опивень[7] Анатолич рассыпается в комплиментах. Нежитью он был безобидной, хоть и немного приставучей. А поскольку люди могли его видеть, ведунье оставалось только следить, чтобы опивень никому не дурил голову.

Пока Степанида зазывала Анатолича на чай, чтоб тот не околел, Варвара тихонько улизнула на работу.

Так и потянулся день. Ученики жаловались на домашку, учителя — на учеников, уборщица — и на тех и на других. Варвара не жаловалась ни на кого. Молча слушала разговоры вокруг и мысленно составляла список дел: проверить, что в старом колодце булькает (как бы водяной не

---

[7] Примечания: 7

Персонаж белорусской мифологии, склоняющий к пьянству. Неистово его осуждаем за это.

поселился); установить силки и словить шерстяного хулигана, который кусты обдирает; узнать, кто кроссовки опять на провода электропередач забросил.

Пока девятиклассники писали контрольную, в класс бочком ввалился телепень[8], рухнул на пол и медленно пополз на последний ряд к двоечникам — те тут же зазевали и рассеянно уставились в окно. Варвара предупредительно откашлялась. Телепень замер, повернул голову и, встретившись своим водянистым взглядом с суровым ведуньиным, бодро развернулся и ретировался в коридор. Наверняка направился к одиннадцатиклассникам срывать репетицию выпускного вальса.

Варвара устало потерла переносицу.

Три дня зимы. Три ночи Подвея. А потом она наконец выспится.

Где б только сил еще взять?

Два дня до весны

— Ой, Варварушка, спасибо тебе за книжки. — Степанида разглядывала цветастые обложки и охала. — Ты гляди-ка. Кать, а, Кать! Беги скорень-

---

[8] Примечания: 8
Персонаж белорусской мифологии, заставляет детей лениться.

ко сюда, скажи тете спасибо!

В дверях показалась худенькая девчонка с двумя темными косичками. Щеки ее горели от смущения. Она пружинистым шагом подошла к ведунье, что-то пробубнила и протянула сложенный листок бумаги.

— Ну, что ж ты так тихонько-то. — Степанида прижала девочку к себе и улыбнулась. — Стесняется. Нарисовала вот тебе благодарную открытку. Кать, ты тетю нарисовала? Ну, просто копия получилась! — Соседка снова глянула на Варвару. — Чаю точно не хочешь? Такой мороз на улице.

— Не, Степанида Семеновна. Пятница ж, уроки раньше начинаются. Мне бежать пора.

— Погоди, тогда пирога тебе с собой заверну!

Соседка поспешила на кухню, и ведунья осталась наедине с девочкой. Повисла неловкая тишина. Катя легонько покачивалась на носочках и явно ждала, что Варвара оценит ее талант.

Тогда ведунья развернула рисунок. Она пару секунд молча разглядывала свою «копию» — неровный круг лица, закрашенный почему-то синим, фиолетовые брови — одна сильно выше другой, оранжевые губы и разноцветные ветки волос, торчащие в стороны.

— У тебя удивительное чувство прекрасного. Долой серую реальность, да?

Девочка застенчиво кивнула.

— И платье великолепное. Ты угадала: люблю зеленый.

— Это хвост, — слегка насупилась Катя.

Ведунья подняла брови.

— Сама придумала или в мультике видела?

— Приснилось.

— Ммм. Русалка? Вы играли?

— Она мне песни поет.

Ведунья еще раз оглядела подарок и спрятала его в карман.

— Ты здорово рисуешь. Хочешь быть художницей?

Катя снова закивала.

— Покажешь мне свои рисунки?

Девочка расцвела и вприпрыжку побежала вглубь дома. Ведунья прошла следом в детскую. Когда-то ее делили две девочки — младшая Катя и старшая Оля. Правая половина была завалена игрушками, постельное белье скомкалось, повсюду валялись фломастеры. Левая же словно застыла во времени: заправленная кровать, стопки книг на темном, покрытом пылью столе, аккуратно сложенная косметика и гребень для волос с рез-

ными ракушками вдоль зубцов. На тумбочке стоял стакан — вода из него давно испарилась, дно покрылось белым известковым налетом.

В углу обжитой части комнаты посапывал Бай с застрявшей в бороде половинкой зефира.

— Скучаешь по Оле? — Варвара осторожно подошла к пыльному столу. Рядом с книгами лежал ворох изрисованных листков.

— Да. — Улыбка с лица Кати сползла. — Я ей картинки оставляю. Вот. Только она не забирает.

Ведунья пролистала несколько — в основном пейзажи: домики, лес, речка. На некоторых две девочки держатся за руки.

— Катюш, а давай меняться. Я тебе что-то дам, а ты — мне. Смотри. — Варвара отколола с пальто большую брошь в виде василька. — Нравится?

Катя закивала.

* * *

Утро сменилось днем, день — сумерками, и когда Варвара отвела все уроки, сходила на родительское собрание и добралась до дома, ночь успела накрыть город темным покрывалом.

Уже у порога ведунья боковым зрением снова уловила шевеление в кустах и замерла. Одна секунда, вторая, третья — и вжух! — свистнула

веревка, а из-за сплетений колючих веток послышалось верещание.

Вот и попалось хулиганье. Не зря на рассвете силки установила.

Варвара наклонилась и потянула на себя веревку, на конце которой застряло в петле что-то черное и мохнатое, с горящими глазками.

Злыдень.

Варвара схватила нечисть за загривок и заскочила в дом, рывком захлопнула дверь, разжала пальцы, и Злыдень, шлепнувшись на пол, обложил ведунью в ответ забористым матом.

— Ах ты ж, зараза такая. — Варвара сунула руку в карман, зачерпнула немного соли и сдула ее незваному гостю в морду.

Поток ругательств захлебнулся.

Злыдень оказался ростом с кошку, весь в черной свалявшейся шерсти, с острыми ушами и длинным хвостом, которым он нервно хлестал по половицам. Из-под насупленных бровей сверкали зеленые глаза — хитрые и немного трусливые, они становились все шире, пока нечисть наконец не чихнула.

— В городе ты пакостишь?

— В голаде ты пакастиф? — передразнил Злыдень и с довольным визгом дернулся к окну, но

веревка тут же натянулась, и нечисть впечаталась носом в пол. — Тьфу ты, чтоб тебя лешие защекотали…

— Видишь, что там в углу стоит?

Злыдень поднялся, проследил за направлением Варвариного пальца и настороженно прищурился:

— Допустим.

— Не будешь отвечать на вопросы — запру тебя в этом сундуке и выброшу его в болото, — пригрозила ведунья. — Еще раз спрашиваю: в городе ты пакостишь?

Злыдень прижал уши и выдал с нагловатой обидой:

— Ну, может, и я. А может, и не я! Где ваши доказательства? Может, я мимо проходил, просто воздухом дышал!

Из глубины дома раздался писклявый Петькин голосок:

— Ваааарь?.. Ты мне что-то говоришь? Я борща наварил, проходи!

— Подумай пока над своим поведением, — буркнула Варвара Злыдню и подвесила его, брыкающегося, на крючок для верхней одежды.

Скинув куртку и обувь, ведунья прошла на кухню и застыла: рядом с хохликом сидел на

скамье Бай. Болтая лаптями, он посербывал суп вприкуску с зефиром.

— А ты что тут делаешь? — удивилась Варвара. — Ночь скоро, ты у Степаниды должен быть и колыбельные Кате петь.

Бай поправил красный кафтан, вытер усы и мелодично изрек:

— Ночь пришла и меркнет свет, только дитятки там нет.

— В смысле нет?

В тот же миг в дверь забарабанили с такой силой, что в груди у ведуньи похолодело.

Только Варвара вернулась в прихожую, как дверь распахнулась, и на пороге возникла Степанида, бледная, растрепанная, с мокрыми от слез щеками.

— Ой, Варварушка… ой, горе-то такое! Катенька пропала! — Она выплескивала слова быстро и горячо. — Всей улицей ищем! Везде обыскались! Может, в лес ушла? Ой, что делать-то?! Помоги, а? Пойдем с нами искать…

Из глубины подвала тут же отозвался воем дух зимней стужи, задрожали стены.

— В милицию звонили?

— Ой, звонили, Варенька… ой, горе…

Варвара не успела ничего сказать, как Степа-

нида уже рванула обратно к дороге и бросила через плечо:

— Я побегу дальше, к Ковалевым, может, там кто видел! Ой, Господи, что ж это делается-то… Мы к лесу пойдем.

— Погодите! — крикнула Варвара, решившись, и Степанида остановилась у калитки. — Без меня не идите. Сейчас оденусь.

Соседка затараторила слова благодарности и скрылась.

Варвара захлопнула дверь, развернулась к висящему на крючке Злыдню и спросила таким ровным тоном, что Петька поежился:

— Лучше сразу говори. Про пропавшую девочку слышал?

— Ну, может, и слышал.

— Ты увел?

— Хмм, как бы тебе на пальцах объяснить… — протянул Злыдень, почесал себя за ухом, достал из лохматой гривы скрученный кукиш. — Хоба!

Варвара молча взяла Злыдня за шкирку, открыла крышку сундука и сунула нечисть внутрь. Раздались приглушенные вопли.

— Только не в болото! Пощади, там же кикиморы! — Железный ящик заходил ходуном.

Ведунья наклонилась к замочной скважине.

— Говорить будешь?

В ответ тихое:

— А ты мне что?

— Не утоплю.

Повисла секундная пауза.

— А сметаны дашь? Пачку.

— Дам.

— Ладно.

Варвара приподняла крышку. Под строгим ведуньиным взглядом Злыдень съежился и, втянув голову в плечи, начал перебирать лапками, изображая крайнюю степень раскаяния.

— Не уводил я. Игрались мы прост, тетенька… Я в нее камушки кидал, она смеялась… Следом шла. Я от нее — она за мной. А потом я на минутку на кота отвлекся, хотел ему хвост баранкой завязать, а девчонка ушла. Честное злыднево…

— Врет! — крикнул Петька, потрясая вилкой. — Веры таким нет!

— За сметану я всегда правду говорю, чучело ты мохнатое! — завопил Злыдень и обматерил хохлика так, что тот удивленно присвистнул.

Поднялась шумиха. Обе нечисти орали друг на друга, из-под пола ревел Подвей, Бай тянул свое протяжное «оммммм».

— А ну заткнулись все! — Слова Варвары хлест-

нули плетью.

Злыдень поперхнулся ругательством, Петька вытянулся по стойке смирно, задрав свой пятак к потолку, и даже дух зимней стужи немного притих, только пол продолжал гудеть.

Ведунья прижала пальцы к вискам, прикрыла глаза. Вдох. Выдох.

— Где девочку в последний раз видел?

— У ле-леса… — Голос Злыдня стал тихий и виноватый. — На тропке к речке. Я ей снова камушек в спину кинул, да только она уже не обернулась. Про голоса что-то бормотала.

Этого-то Варвара и боялась.

Она выругалась себе под нос.

— Хозяюшке успокоиться надо. — Бай снова затянул песню, от которой веки тут же налились тяжестью.

— Хозяюшке нужны валерьянка и муж! — огрызнулась Варвара и, махнув рукой, развеяла колыбельные чары. Рванула с вешалки куртку и, пока наскоро одевалась, принялась раздавать указания таким тоном, что ее послушалась бы и табуретка: — Петя, руны обнови, от люка не отходи, стереги. Заговор знаешь. И наушники надень. Бай, колыбельные пой и не замолкай, пока я не вернусь. Дверь никому не открывайте.

А ты, нелюдь, со мной пойдешь.

— Но там русалки! — взвыл Злыдень, выбравшись из сундука. — Не любят они меня. Я их стерлядью обзывал…

Ведунья на секунду замерла, посмотрела на нечисть сверху вниз с холодной, усталой решимостью.

— Девчонку ты проморгал, тебе и искать, — сказала она ровно. — Шевелись.

— Варь, — захныкал Петька, когда ведунья распахнула дверь и впустила в дом ледяной воздух. — Ну, не уходи. Там полгорода на улицу высыпало, и без тебя потеряшку найдут. За окном тьмища, что у смоляного черта в…

— Петр, не ной, — отрезала Варвара и носком ботинка подпихнула к выходу Злыдня. — Мы скоро.

Хохлик с кислой миной вставил наушники в свои огромные уши и обреченно сгорбился возле подвального люка. Из динамиков забахало жесткое техно.

По хрустящему снегу Варвара следом за Злыднем выскользнула на дорогу и влилась в толпу волонтеров. Свет их фонарей метался по сугробам, а дальше, через несколько домов, начиналась густая лесная тьма. В последние февральские

дни она недобро наблюдала за городом, будто предупреждала: ступишь за границу — сразу в пасть угодишь.

Леса ведунья не боялась. Всех местных духов знала, но сейчас сердце трепетало то ли от быстрого шага, то ли от страха, что они уже опоздали. А может, и от злости: кто, как не она, виноват в том, что нечисть распустилась?

Что бы посоветовал Кирилл? Она тут же представила его мягкий обволакивающий голос: «*Душа моя, не злись. Ты, как только сердиться перестаешь, сразу все решаешь*».

И то верно.

Злыдень дернул Варвару за штанину и указал хвостом в сторону. Пока другие звали Катю, ведунья тихонько нырнула за костлявые спины деревьев и последовала за нечистью. Злыдень бормотал под нос ругательства, временами проваливаясь в снег по самые уши и выскакивая из сугроба поплавком.

Варвара едва поспевала.

— Если русалок увидим, за меня прячься и к воде не суйся, — сбившимся голосом проинструктировала она Злыдня.

— Думаешь, что девчонку рыбины уволокли?

— Да.

— И чего с ними делать будем, как доберемся? — спросил Злыдень, а когда ведунья не ответила, продолжил: — Может, мы этих русалок… кххээээээ… — Прямо на ходу он продемонстрировал навыки пантомимы, подвешивая себя лапкой на невидимой веревке. — Ну… прикончим?

— Надеюсь, до этого не дойдет. — Варвара выдохнула облачко пара.

— Так они ж нечисть.

— Ты тоже.

Злыдень возмущенно взвизгнул и снова сменил направление. За деревьями уже виднелась река, укрытая белой простыней.

— Ну, ты сравнила, ведунья! Меня и стерлядей этих злобных…

— Это не их выбор. — Варвара сунула руки в карманы, проверяя, что ничего по дороге не выронила. — А теперь брысь с дороги.

Они подбирались к замерзшей реке.

Ведунья выглянула из-за высоких камышей. Иней покрыл их так густо, что стебли казались седыми. За ними по льду, маленькая, в распахнутой куртке поверх ночнушки, шла Катя. Она, как во сне, плавно приближалась к проруби.

Варвара ступила на лед. Тот предупреждающе хрустнул под ногами.

— Катя! А ну-ка, остановись.

Девочка в растерянности замерла и обернулась: взгляд пустой, рот приоткрыт.

— Возвращайся на берег.

Не успела Катя пошевелиться, как из проруби вынырнула темная рука, вцепилась когтистыми пальцами в лед. Следом показалась черная макушка и белесые глаза без зрачков.

— Катюша, Катенька… — От голоса, тягучего, как река, по коже Варвары побежали мурашки. — Моя родная, беги ко мне. Обниму, обогрею.

Девочка так и стояла: то на ведунью глянет, то на русалку.

– *Живое к живым, мертвое к мертвым.* — Шепот Варвары туманом стелился по льду к обоим берегам. — *Русалка песней манит, а ты на меня гляди, меня слушай, на голос мой иди. Русалочий морок — прочь уходи, живая кровь — проснись и по венам беги.*

В ответ русалка зашипела, как капли воды, попавшие на раскаленную сковороду, но для Кати это должно было звучать песней — прекрасной и зовущей, тянущей ко дну. Девочка ахнула и снова подпала под чары нечисти.

Пальцы русалки, длинные и бледные, манили — раз, другой, третий — каждый раз все медлен-

ней, словно натягивали невидимые нити, на конце которых послушной марионеткой шагала к проруби Катя.

Варвара не могла бежать: лед был слишком тонкий, мутный, трещал под ногами. Она аккуратно приближалась, но понимала, что не успеет: всего пара метров отделяла Катю от гибели.

— Оля! — крикнула Варвара, и русалка вздрогнула. Ее скрюченные руки застыли, на лице мелькнуло удивление. — Да, узнала я тебя, узнала. Ты зачем сестру на дно тащишь?

— А тебе дело какое, ведунья? — Русалка прищурилась. — Чего ты из дома своего выползла? Меня ты в прошлом году спасать не пришла.

Варвара сглотнула. Дальше идти было совсем опасно: под ее весом на поверхности появилась трещинка, тут же потемневшая от нахлынувшей воды.

— Сама знаешь, не было меня в городе, ничем я тебе помочь уже не могла. Но и сестра твоя тоже не виновата. Посмотри, холодно ей, околеет же совсем.

Русалка перевела взгляд на Катю. Та замерла бледной тощей статуей. Волосы ее подхватывал ветер и хлестал ими в заплаканное лицо, трепал тонкую ночнушку.

— Заболеет ведь. — Варвара аккуратно ступила наискосок, туда, где лед казался чуть надежней. — Ты Катьку-то любишь?

— Ты издеваешься, ведунья? — Русалка обнажила клыки. — Люблю ли я ее? Да я даже тут, среди тины вонючей, думаю только о ней. Знаешь, как я по теплу ее скучаю?

— Ну, и зачем тогда тепло ее в этом холоде хочешь утопить?

— Со мной не замерзнет. Вода все унесет — и холод, и болезни, и боль, и…

— Жизнь, — закончила Варвара. — Этого ты сестре желаешь? Посмотри на нее. Она же совсем ребенок. Хочешь отнять у нее детство?

— А у меня не отняли?! — завопила русалка и стукнула кулаком по льду. — Все забрали, ничего не осталось! — Потом надломленным голосом обратилась к Кате. — Иди ко мне, моя хорошая. Я тебя никому не отдам. Здесь тихо, нам будет хорошо.

— Оля! Одумайся! Убьешь же девчонку!

— Разве ж убью? Домой заберу. Кать, помнишь, как ты у меня на руках засыпала? Совсем ты с тех пор выросла. Подойди ближе.

Девочка не двигалась. Русалка развернулась к ведунье:

— А, ну, хватит свои заговоры шептать! Оставь нас! Уходи! Чего тебе надо вообще?! Назови цену!

— Не будет цены, Оля, — вздохнула Варвара и сунула обмороженные руки в карманы. — Отпусти Катю, если любишь.

Русалка всхлипнула, сложила руки перед собой и уронила на них голову.

— Она меня не слышит… Каждый день зову, зову, а она не слышит. Только когда спит. Или когда у реки. Я с ней минутку-другую поговорю и сразу словно оживаю. Понимаешь?! А без нее я что? Вода да тина. — Плечи ее затряслись. — Ты знаешь, что значит быть просто водой? На дне лежать и гнить? Кричать, просить о помощи и знать, что никто не отзовется?

— И такую судьбу ты приготовила сестре? — Голос ведуньи звучал тихо. — Еще раз спрашиваю: любишь Катьку?

— Люблю…

— И она тебя — очень. Ты ее старшая сестра? Так будь ей. — Ведунья сделала паузу и, когда русалка не ответила, продолжила: — Хочешь смех ее слышать? Я буду приводить ее к реке, обещаю.

Пока русалка рыдала, Катя, казалось, очнулась. Она испуганно смотрела на прорубь, будто не

понимая, как здесь очутилась. Варвара тихонько ее позвала, и девочка попятилась.

— Я не могу смотреть, как она меня год за годом забывает, — прошептала русалка.

— Она и так тебя помнит, каждый день рисует. Я принесу, если позволишь. Ты можешь жить в ее памяти… или вы обе не будете жить нигде.

— Отпустить, говоришь… — Русалка подняла голову. Губы ее дрогнули, слегка растянулись. — А сама- то ты, ведунья, чего ж не отпустишь? Развеяла бы давно уже мороз по ветру, а ты его в подполе держишь. Или ты только словами бросаешься да нежить гоняешь?

У Варвары кольнуло в груди.

— Молчишь?.. — Русалка еще больше высунулась из воды, облокотилась на кромку льда. — Лицемерка…

С нечеловеческой скоростью она вынырнула из проруби и, прежде чем Катя успела взвизгнуть, схватила девочку костлявой рукой, опрокинула на лед и потянула на себя.

Ведунья не пошевелилась. Как только Оля обняла сестру, тут же зашипела.

— Жжется! Что ты натворила?! — Она отпихнула Катю, от перепончатых лап русалки поднимался пар. — Что?.. Что ты… сделала…

— Брошь твоей сестре подарила, оберег от вас, рыбин. — Варвара махнула девочке, и та поползла к ней, вся в слезах. — У тебя был шанс.

Русалочье шипенье резало уши. Варвара вытащила из кармана гребень — тот самый, с Олиного стола, украшенный ракушками.

— Узнаешь?

— Но… что ты…

— Я думала, в тебе что-то от человека осталось, но ошиблась, — грустно сказала ведунья и взялась за зубчик на гребне. — Что ж, все ошибаются.

Варвара с тихим хрустом надломила зубец. Русалка вскрикнула, дернулась, тело ее пошло рябью. Потекла с головы и плеч тина, с лица — гнилая вода. Руки тут же превратились в водоросли. Через секунду в проруби колыхалась только мутная взвесь, а на льду остались следы черной ряски. В воздухе стоял затхлый запах речного ила.

Варвара махнула рукой и выбросила гребень в воду.

Рядом захныкала Катя.

— Пойдем домой, моя хорошая. Все позади.

Обратный путь показался вдвое дольше. Катя, обняв Варвару за шею, посапывала в кольце ее

рук, пока та бормотала под нос:

– *Туман навеваю — быль сном застилаю…*

Щеки щипало от мороза, горло болело от колючего воздуха. Попавший в ботинки снег растаял, и носки были насквозь мокрые. Спину нещадно ломило — Катька-то не маленькая. Еще и Злыдень повис на штанине.

— Ведунья… — Наглость из голоса нечисти выветрилась. — Я передумал. А можно вместо сметаны я это… у вас поживу?

Варвара хмуро глянула на Злыдня. Выглядел тот жалко: шерсть дыбилась мокрыми иголками, глаза настороженно осматривали темный лес.

— Вот уж не знаю. Муж вернется, тогда решим.

— Батюшки! Нашлась, родная! — запричитала Степанида, как только они показались у ее двора, и приняла Катю на руки.

Ведунья отмахнулась от предложения попить чаю и отогреться, оставила соседку — всю в слезах, но счастливую — и заторопилась к себе.

Мороз усиливался, заползал под куртку, пробирая до костей. Скрипнула калитка. С каждым шагом, с каждым облачком пара, повисшем в воздухе от прерывистого дыхания, становилось все холоднее и в груди возрастала тревога.

Даже Злыдень притих.

Оба они понимали: стужей тянет из дома.

Варвара вбежала на крыльцо и распахнула дверь.

Печь погасла. В комнате было темно и тихо: ни Петькиного ворчания, ни колыбельной. Воздух стоял тяжелый. С потолка свисали тонкие ледяные иглы — длинные, хрупкие, они качнулись и тихонько звякнули, когда Варвара осторожно прикрыла дверь.

В углу скорчился бледный Бай.

Варвара с замершим сердцем уставилась на черный провал подвальной дыры.

— Петька?.. — позвала ведунья едва слышно.

— Тише, Варь, тише… — донесся из-под стола тонкий, дрожащий голос. — Он… он здесь.

И в ту же секунду обрушилась буря.

Взорвались сотней осколков зеркала, снег вихрем закружил по комнате, ледяные иглы с потолка посыпались градом. Варвара заслонила лицо рукой, пытаясь устоять на ногах, и сквозь рев вьюги услышала, как из подвала поднимается что-то огромное и древнее, самой лютой зимы злее.

— Стой, — прошептала Варвара. — Пожалуйста, стой.

Но буря не слушала. Она хотела на волю.

Заверещал Злыдень, когда порывом ветра его отбросило в угол. Зазвенела бьющаяся посуда.

— Прекрати! — уже тверже сказала ведунья прямо в сердце ревущего вихря. — Уходи обратно! Не пущу!

Она сжала кулаки и зашептала заговор, которым в первое зимнее утро окольцовывала Подвея, еще слабого. Заученные слова слетали с губ, но их тут же поглощал ветер. Буря закручивалась все быстрее, снег хлестал по лицу, колючками впивался в кожу.

Варвара сунула руку в карман, онемевшими пальцами нашарила костяную свистульку и дунула в нее изо всех сил. Тонкий, пронзительный звук стрелой прорезал вьюгу, и та взревела в ответ яростнее, чем прежде. Дух стужи не слушался, ведь он уже знал: так зазывают в ловушку, манят обратно в тесноту подвала.

Снег взметнулся, и ведунью сбило с ног. Она ударилась коленями, но свистульку не выпустила, продолжила дуть. Не обращала внимания ни на легкие, что сковало болью, ни на замерзшие и потрескавшиеся до крови губы.

Сквозь мельтешение снежинок Варвара видела Петьку. Тот лежал под столом, белый от инея, и… таял. Подвей вытягивал жизнь из хохлика и от

этого сам становился все сильней.

— Не смей! — закричала ведунья с мольбой и ужасом в голосе. Как только дух стужи закончит с Петькой, как только сможет пройти через барьер, едва сдерживаемый Варварой, он вырвется на улицу и вберет в себя тепло любого, кого встретит по пути.

— Подвей! — Ведунья едва выталкивала слова из горла. — Прекрати! Ты не оставляешь мне выбора!

Сердце ее, казалось, само уже начало замерзать. Кровь в жилах стыла, и, подобно вору, мороз капля за каплей крал и ее жизнь.

— Пожалуйста…

Подвей обретал плотность — в вихре вырисовывался выточенный из стекла силуэт.

«Силен… Он слишком силен, я не смогу его сдержать…»

Перед глазами, как узоры инея на стекле, то вырисовывались, то таяли от едва теплого Варвариного дыхания картинки: вот дух зимней стужи вырывается за порог, настигает одного, другого, третьего и, сытый, уносится прочь, оставляя после себя окоченевшие тела.

— Не вынуждай меня!

Но Подвей, как и сама смерть, был равнодушен

к просьбам. Буря неистовствовала, безучастными синими глазами глядела на Варвару.

Другого пути нет.

Только уничтожить. Только отпустить. В ушах звучал не ветер, а насмешливый голос русалки.

Ведунья всхлипнула, выпрямилась насколько смогла и тихо начала читать изгоняющий заговор:

– Двенадцать ветров пусть развеют тебя, в двенадцать сторон ты уйдешь навсегда…

Голос срывался в кашель, но Варвара не останавливалась. Слова копьями врезались в сердце бури, дробили лед на части. И чем слабее становился дух зимней стужи, тем сильнее ведунья чувствовала, как эти же слова вырезают из груди нечто очень важное, часть самой ее сути, оставляя лишь мертвую пустоту. На горле затянулась удавка вины, и Варваре хотелось кричать, чтобы как-то ее ослабить.

«Прости… прости меня… прости…»

Слезы замерзали на щеках, едва пролившись.

Подвей слабел, вьюга истончалась. Снег уже не так остервенело хлестал по лицу, и она вспомнила слова Кирилла: *«Ты справишься, Варь, всегда справлялась. Кого угодно переупрямишь и все решишь»*.

Вспомнила и огляделась.

Ну, должен же быть другой выход!

И тут глаза ее снова наткнулись на угол, где, сжавшись в комок, лежал Злыдень. Со страху он позабыл про все свои ругательства и дрожал от холода.

В голове вспыхнули слова бабки, сказанные когда-то давно: «Если в бурю попал — ветру кукиш покажи». Тогда маленькая Варя посмеялась, зато взрослой Варваре сейчас было не до смеха.

— Злыдень!

Тот поднял голову.

— Кукиш скрути! — Ведунья пыталась перекричать вой ветра, который снова стал крепнуть. С недоумением загорелись в ответ зеленые огоньки глаз. — Говорю, фигу покажи!

О таком Злыдня долго упрашивать не пришлось. Маленькая черная лапка тут же взметнулась, пальцы сложились в неприличный жест. Подвей взревел и немного отступил.

Варвара возликовала.

— Не убирай!

Взмахом руки она развеяла предыдущие чары, собрала весь тот жар, что еще тлел в ее сердце, и с силой дунула в костяную свистульку, удерживая рассвирепевшего зимнего духа со своей стороны.

Три выдоха, а потом шепот обережного заговора. Снова три выдоха и заговор.

Подвей сжимался, вихрем скручивался в одну точку, растерянно шарахался туда-сюда: Варвара его истощала, а Злыдень, как и положено его нечистой натуре, злил и отвлекал.

Синие глаза тускнели.

— У-у-у, погань ледяная! — верещал Злыдень, почуяв силу. — Ушлепок отмороженный!

Ветры затихали, а вой все больше походил на поскуливание. Зато мелодия из костяной свистульки расцветала, журчала весенними ручьями, со звоном капели отражалась от стен и молодыми побегами оплетала разбушевавшуюся стихию.

— Завали грызло свое мерзлое! — Злыдень растерял весь свой страх. Кулачонки его тряслись прямо перед снежной завесой, и та становилась все прозрачнее.

Варвара отняла свистульку от потрескавшихся губ, бросила ее в открытый погреб и произнесла последние строки заговора:

– Злые духи пусть под землей сидят, а добрые под солнцем ясным ходят. Так было, так есть и так будет.

Подвей тут же свернулся, крутанулся несколько

раз и втянулся следом за свистулькой. Варвара хлопнула люком и навалилась на него всем телом.

— Запирай!

Злыдень вколотил молотком гвозди.

Ослабевшими пальцами Варвара зажала мел, начертила руны и в последний раз выдавила из себя оберегный заговор, а потом веки ее налились свинцом, и она рухнула в бездну.

Ей снилось, будто она упала в сугроб, мягкий, как лебяжий пух, и такой же теплый, а тот накрыл ее белым одеялом. Щеку нежно поцеловал холод. Повсюду, куда ни глянь, простирались снега, искрящиеся под луной, словно разбитое на миллиарды крошечных осколков зеркало. Бури больше не было, а из бархатной темноты внимательно наблюдали синие глаза.

Варвару разбудил стук.

Она тут же застонала — все мышцы ныли. С болью пришли воспоминания, и ведунья резко села, осматриваясь. В доме было чисто и уютно: кто-то убрал битую посуду, расставил мебель по местам, растопил печь. Саму Варвару заботливо завернули в шерстяное покрывало.

— Не нужно благодарностей. — Злыдень выка-

тился из-за печи и возбужденно замахал хвостом, как собака. — Мы тут немного прибрались.

— Я прибрался, — возмущенно поправил его Петька, показавшись в дверном проеме с тряпкой. — А эта бестолочь, пока я занят был, выжрала в холодильнике всю сметану.

У Варвары навернулись слезы на глаза. Живые! Оба! Или…

— А где Бай?

Петька махнул лапкой на медный таз:

— Мы его в горячей воде отогрели, он и ушел. Совсем укатал нас своими колыбельными… Зато ты выспалась.

Варвара действительно чувствовала себя отдохнувшей.

С улицы снова раздался стук. Ведунья, охнув, подскочила на ноги, и, прихрамывая, подошла к двери. Поморщилась от яркого солнечного света.

На пороге стояла Степанида Семеновна, а из-за ее плеча выглядывал красноносый Анатолич. Под ногами у них крутилась Катя.

— Варварушка, ну ты и лежебока! Ты чего спишь до полудня? — воскликнула соседка. — Блины хоть напекла?

Какие, к лешему, блины?

В груди у Варвары медленно, но верно закипа-

ло. Но прежде чем она успела ляпнуть что-нибудь из словесного арсенала Злыдня, соседка заливисто рассмеялась.

— Да шучу я, шучу! Во, смотри, что принесла! — Степанида протянула тарелку, накрытую рушником, из-под которого веяло теплым ароматом топленого масла и выпечки. — С Анатоличем напекли. Знали, что ты все выходные в хате будешь убираться перед приездом Кирилла. — Соседка откинула рушник, демонстрируя завернутые конвертами блины. — Эти твои любимые, с вареньем из паречки, а мужу твоему вот с мясом, поджаристые.

Варвара растерянно переводила взгляд с тарелки на соседку и обратно.

— Погодите, но… разве сегодня…

— Ты что, все проспала? Прощеное воскресенье уже. Кирилл-то где?

И тут Варвару словно ледяной водой окатило.

— Погодите, минутку!..

Ведунья захлопнула дверь и метнулась в дом. Схватила со стола телефон и охнула: первое марта!

Больше суток в забытьи провалялась!

Она рванула к подвалу, опустилась на колени, судорожно стерла руны. Пальцы не слушались

от волнения, защелки не поддавались. Наконец крышка со стуком откинулась, и Варвара тут же оказалась в крепких горячих объятьях.

— Кирилл!

— Душа моя… — Голос его был охрипшим, как после сна, но руки, родные и надежные, сжали так, что перехватило дыхание. — Я так соскучился.

«А я-то как…» — подумала Варвара и всхлипнула, уткнувшись лицом мужу в грудь. Глубоко вдохнула родной запах снега и сосновой смолы.

— Прости меня… я ж чуть… чуть… — Слова комом встали в горле.

— Тихо, тихо, все хорошо. — Кирилл гладил Варвару по волосам, по спине, целовал в висок и шептал: — Это ты меня прости. Не смог сдержать бурю. А ты справилась, душа моя. Со всем справилась.

Варвара подняла голову и встретилась с ним взглядом — с теми самыми синими глазами, которые однажды, три года назад, увидела в заснеженном лесу. Тогда, в начале декабря, она пошла искать Подвея, еще не вступившего в свои права, а наткнулась на парня: тот сидел на поваленной сосне и бессмысленно смотрел в небо. На лице его не было злобы, что просыпалась в

нем к середине зимы, — только бесконечная, вселенская тоска существа, обреченного на вечное одиночество.

«Развей меня, ведунья. Так всем легче станет».

Но легче не стало — Варвара влюбилась.

И сейчас в бездонной синеве его глаз ведунья видела ту же отчаянную нежность, что полыхала внутри нее самой, и от этого снова защипало в носу.

Варвара медленно провела рукой по щеке Кирилла. Она всегда удивлялась, каким теплым может быть тот, кто родился из лютой стужи. С каким пылом может любить сердце, которое три месяца в году сковано льдом.

— Три месяца, — повторила ведунья вслух, нарушая виноватую тишину.

— Три месяца, — эхом отозвался Кирилл и прижал жену к себе так, что затрещали ребра. — Больше не буду.

— И меньше тоже, — усмехнулась Варвара ему в губы. — Каждую зиму будешь мне нервы трепать.

— А каждую весну буду просить прощения, — тихо ответил Кирилл.

Поцелуй был мягкий, как талая вода, и такой же ласковый, как мартовские лучи, что согревали

комнату. Варвара и сама не поняла, что плачет, пока Кирилл не отстранился и не стер слезы на ее щеках.

Рядом раздалось робкое покашливание.

— А это у нас кто? — Кирилл удивленно глянул Варваре за спину.

Злыдень прижал уши и опустил хвост. Глаза его напоминали два гигантских зеленых блюдца.

— Ах, этот… — Варвара вздохнула. — Приблудный. Пожить у нас хочет.

— Кажется, встречались. — Кирилл сощурился.

Под его взглядом Злыдень стал еще меньше.

— Простите, дяденька. Это я вам кукиш показывал, — промямлил он, ковыряя пяткой пол. — Но то не я хулиган, то жена ваша сказала сделать. Так что с ейной совести и спрашивайте.

— Но обзываться тебя никто не просил! — тут же вскипел Петька и повернулся к хозяину. — Он же вас ушлепком назвал!

Губы Кирилла дрогнули в едва заметной улыбке, во взгляде заплясали искорки.

— Припоминаю такое. Что-то ты мне еще завалить велел?

Злыдень совсем стушевался и пробормотал:

— Ваше морозное… — Дальше неразборчиво.

— Что? Не слышу.

— Гры… грызло, — икнул Злыдень.

— Ну, вот и надо оно нам? — Петька стукнул копытцами. — И вообще, сами знаете, злыдень в доме — прощай спокойная жизнь.

— А когда она у нас спокойная-то была? — Варвара уткнулась носом Кириллу в шею.

— Хочешь, чтобы он остался? — спросил он, целуя жену в макушку и, дождавшись кивка, добавил: — Что ж, добро пожаловать тогда.

Хохлик устало застонал, Злыдень распушился, поднял уши и хвост.

— Ох, блин, там же блины! И Степанида с Анатоличем! — Ведунья хлопнула себя по лбу и побежала открывать дверь.

Петька устало побрел в свой угол, причитая:

— Все чудесатее и чудесатее… Подвея нам мало было, теперь еще и Злыдня приютили. А дальше что? Стрыге барский прием устроим?

— Ствыге бавский пием уствоим? — передразнил его Злыдень. — Тьфу. Ябеда помойная.

Вместе они, переругиваясь, скрылись за печкой.

Анатолич бочком пытался подобраться к травяным настойкам, но Варвара сразу убрала их подальше и усадила гостей за стол.

— Варварушка, ты мне, может, лекарству сво-

его целебного дашь? Того, на боярышнике. Для горлу, а? — сипло спросил опивень и для пущей убедительности покашлял, пока Степанида раскладывала по тарелкам ароматные блины. — В прошлый раз, когда застудил, очень помогло.

— Вы лучше на чаек малиновый налегайте, — предостерегающе ответила Варвара и прислонилась к теплому боку Кирилла. — А то, знаете, как говорят: яд от лекарства отличает только размер дозы.

— Не диво, что ты, друг наш, приболел, — подхватила Степанида. — Зима вчера разбушевалась. Давно такой не видывали.

— Да то холода разве? — тут же громко отозвался Анатолич, забыв о своем «недуге». — Вот раньше какие зимы были! До обморожений! Жуть. Но вы-то, Варварушка, не застали. — Опивень хлебнул чаю и, загадочно улыбнувшись, подмигнул. — Как приехали к нам, так морозы и прекратились.

Кирилл нежно погладил Варварину ладонь.

Оба они знали: зима не перестала быть зимой. Но вслед за снежной бурей неизбежно наступает весна. И пока они вдвоем — человек и дух — ждут ее, пока вопреки своей природе продолжают за нее бороться, даже самая лютая стужа теряет

власть.

Иван Никитин. Тропический иней, или Биндас


Иван Никитин
Тропический иней,
или Биндас

На севере Беларуси детей пугали существом, которое носило имя Биндас. Чтобы дети не заходили в баню без взрослых, им говорили, что в ней находится злой дух Биндас и обливает горячей водой непослушную ребятню.

Зима тысяча восемьсот пятнадцатого года выдалась в Залесье такой лютой, что, казалось, выстудила саму душу белорусской земли, добравшись до ее самых глубоких, сокровенных корней. За высокими, оправленными в тяжелые свинцовые переплеты окнами неделями завывала слепая метель. Она методично, день за днем, хоронила под снежными заносами наш английский пейзажный парк, сгибала до земли вековые сосны, ломала хрупкие ветви молодых лип в аллеях и намертво сковывала толстым синим льдом некогда резвое русло речушки Драй. Небо слилось с землей в единую серую мглу. Мир снаружи был мертв, обесцвечен и бесконечно жесток к любому проявлению жизни.

Но здесь, по эту сторону толстого, покрытого снаружи наледью стекла я, Ян, помощник главного садовника, собственными изрезанными руками хранил вечное и буквально осязаемое

лето. Пан Огинский нашел меня на сморгонском тракте зимой тысяча восемьсот пятого года. Мне было двенадцать, на мне болтался рваный зипун, и я грелся у чужого костра на обочине. Графская карета остановилась рядом. Кучер уже потянулся за монетой, но тут я протянул к огню левую руку — рукав задрался, и ожог открылся весь, от запястья до локтя. Граф долго смотрел на мой шрам. Потом молча открыл дверцу. Может быть, в тот вечер он, сам потерявший родину и дважды начинавший жизнь заново, отчасти узнал себя в существе, которое лишилось всего и держалось на одном упрямстве.

Через неделю я уже таскал дрова в оранжерею для главного садовника, а через год — что уже совсем не полагалось дворовой челяди — получил доступ к дворцовой библиотеке. Латинские названия растений легли в голову раньше, чем польская грамота. Откуда я взялся, никого особо не интересовало. На шее у меня с младенчества болтался на вытертом шнурке маленький бронзовый медальон с полустертым гербом — перекрещенные стрелы и полумесяц, но чей он, выяснить было не у кого.

Я устало отер со лба выступившую испарину тыльной стороной ладони, оставив на коже тем-

ный след от древесной золы. Моя главная забота и величайшая гордость — огромная оранжерея, выстроенная перпендикулярно дому садовника и соединенная крытыми галереями с главным дворцом, — тяжело дышала влажной землей, прелой листвой и дурманящим ароматом цветущих цитрусовых. Это был невероятный оазис посреди белорусской зимы. Сложнейшая система дымоходов от трех массивных печей непрерывно пульсировала жаром, поддерживая жизнь существ из совершенно иного, далекого мира.

Наш хозяин, пан Михаил Клеофас Огинский, питал к редким растениям страсть почти мистическую, граничащую с одержимостью. За годы изгнаний, политических бурь и долгих странствий по Европе он собрал коллекцию, которой могли бы позавидовать лучшие ботанические сады Вены, Лондона или Парижа. Именно поэтому прямо здесь, под сводчатыми стеклянными потолками, среди раскидистых папоротников, пугающе-прекрасных орхидей, привезенных кораблями из Нового Света, и карликовых пальм располагалась его летняя столовая. Ему нравилось это противоестественное соседство стихий, этот вызов самой природе.

Каждое утро, а иногда и поздним глухим ве-

чером пан Огинский приходил сюда, садился за изящный мраморный столик на кованых изогнутых ножках и приказывал подать кофе. Он мог часами сидеть неподвижно, кутаясь в теплый суконный плащ, подбитый мехом. Его тонкие нервные пальцы пианиста обхватывали горячую чашку, а глаза неотрывно смотрели, как в нескольких дюймах от его лица, за хрупкой преградой прозрачного стекла, беснуется белая смерть. Казалось, в этом контрасте он находил какое-то горькое утешение для своей израненной души.

Поправив грубый полотняный передник, я неслышно подошел к столику. Фарфоровая чашка мейсенской работы, тонкая, как яичная скорлупа, которую граф оставил здесь вчера вечером, была пуста. Снова. На белоснежном мраморе остался лишь влажный темный след от донышка да крошечная капля на краю блюдца. Я наклонился, принюхиваясь. В спертом воздухе все еще висел тонкий и нехарактерный для этих краев аромат дорогой кофейной гущи — пан предпочитал заказывать зерна из далекой арабской Мохи. Но сквозь него, словно горький яд сквозь сладкое вино, пробивался другой запах. Запах застарелой гари. Пахло прокопченным деревом, раскален-

ным камнем и старой жирной сажей.

Я невольно вздрогнул и рефлекторно потер левое предплечье. Там, под грубой тканью льняной рубахи, от запястья до самого локтя скрывались старые бугристые шрамы от ожогов. Они всегда начинали фантомно ныть и чесаться, когда я чувствовал этот запах — запах раскаленных камней и черной курной бани. Память услужливо, с безжалостной ясностью подкинула ту ночь пятнадцать лет назад.

Мне было едва ли семь. Я, оборванный замерзающий мальчишка-сирота, не помнящий ни отца, ни матери, забился в чужую курную баню на самой окраине Сморгони. Я надеялся лишь на то, что остаточного тепла в камнях хватит, чтобы мои легкие не остановились до рассвета. Но баня была давно выстужена. Я лежал на ледяных склизких досках полка, сжавшись в комок, и с ужасающей ясностью чувствовал, как жизнь медленно, по капле, с каждым выдохом уходит из окоченевших конечностей в стылую промерзшую землю.

И тогда из самого темного угла, из-под остывшей груды почерневших камней печи-каменки, появилось нечто. Оно не имело четкой формы, но было огромным, состоящим из пугающего мрака

и удушливого запаха сажи. То самое существо, которым в окрестных деревнях беззубые бабки пугали непослушных детей. Биндас. Древний дух бани, хранитель архаичного огня, живущий там, где нет дымоходов, где едкий дым выедает глаза до слез и оседает на бревенчатых стенах жирным черным бархатом.

Тогда я просто закрыл глаза, приготовившись к смерти. Но монстр не тронул меня. Во тьме раздался хриплый вздох, похожий на шум исполинских кузнечных мехов. Существо нависло над мертвой печью, медленно постучало когтями друг о друга — три коротких сухих щелчка, как будто кто-то выбивал кресалом искру, — и просто дохнуло на остывшие камни. И камни ответили — начали едва заметно светиться вишневым пульсирующим светом, отдавая воздуху сухое спасительное тепло. Я уснул под этот рокочущий звук чужого дыхания, прижавшись мокрой от слез щекой к мгновенно потеплевшим доскам.

А утром, когда меня нашел хозяин бани и с громкой бранью выгнал на мороз, я по неосторожности оперся рукой о камень, который оказался раскален так, словно его только что достали из кузнечного горна. Ожог остался на всю жизнь, как клеймо. Как вечное напоминание о том, что

страшное, скрывающееся во мраке и фольклорных ужасах, не всегда значит злое.

Отмахнувшись от наваждения, я мотнул головой и подошел к старой дубовой кадке с плодоносящим лимонным деревом. Вчера вечером на его нижних ветвях я приметил несколько больных листьев, пораженных красной тлей, но не успел их срезать. Сегодня их не было. Я присел на корточки, разглядывая ветку. Срез был идеально ровным, словно сделанным острейшей бритвой одним неуловимым движением. Ни один английский садовый секатор не оставлял таких безупречно гладких краев — он всегда слегка сминал волокна. Это был срез, оставленный огромным заточенным когтем.

Это продолжалось уже целую неделю. Кто-то неведомый приходил по ночам в мой охраняемый, запертый снаружи на ключ оазис. Кто-то методично допивал барский кофе, дочиста подъедал крошки от миндального печенья и с почти нежной аккуратностью ухаживал за растениями: рыхлил слежавшуюся землю, убирал сухие ветки, поддерживал тяжелые бутоны редких орхидей аккуратными кусочками коры.

В тот день, когда я разглядывал срезанную ветку лимона, за моей спиной хрустнул гравий.

Я вздрогнул и резко обернулся. По центральной дорожке оранжереи, тяжело ступая в начищенных до зеркального блеска сапогах, приближался Казимир Войцехович — управляющий хозяйством усадьбы. Грузный, краснолицый, с густыми седыми бакенбардами и вечно недовольным выражением на круглом лице, он появлялся здесь примерно раз в неделю — исключительно для того, чтобы составить очередной хозяйственный отчет для графа и непременно найти к чему придраться.

— Ну-с, Ян, показывай, — пробасил он, доставая из-за обшлага мундира замусоленную записную книжку и огрызок карандаша. — Как обстоят дела с цитрусовыми? Потери есть?

Я незаметно убрал за спину руку с обрезанной веткой и выпрямился.

— Потерь нет, пан Казимир. Все деревья здоровы. Тля на лимонах была, но я… вывел.

Управляющий придирчиво осмотрел ближайшее дерево, пощупал лист между толстыми пальцами, понюхал и удовлетворенно хмыкнул. Потом прошелся вдоль рядов орхидей, останавливаясь у каждого горшка. Я шел за ним, стараясь не дышать. Под кадкой с фикусом, в самом темном углу, я накануне обнаружил клок черной жесткой

шерсти, зацепившейся за выступающий гвоздь. Я, разумеется, убрал его сразу, сунул поглубже в карман передника, но все равно мне казалось, что в воздухе до сих пор витает тот самый запах — запах горячей сажи и чужого присутствия.

— Славно, славно, — бормотал управляющий, аккуратно записывая что-то в книжку. — Орхидеи в превосходном состоянии. Даже лучше, чем в прошлом месяце. Граф будет доволен. Скажи мне, Ян, а отчего верхний ярус такой ухоженный? Там ведь и лестницы порядочной нет.

Сердце мое провалилось в желудок.

— Я… подвязываю длинный шест к метле, пан Казимир, — выдавил я, чувствуя, как горят уши. — И так достаю до верхних веток.

— Хм. Находчиво. — Управляющий захлопнул книжку и сунул ее обратно за обшлаг. — Жалованье, правда, от этого не увеличится, но графу я доложу. Хорошо работаешь, парень.

Он развернулся и зашагал обратно к двери, по дороге едва не наступив тяжелым сапогом на влажный темный след на каменном полу — огромный отпечаток босой ноги с четырьмя когтистыми пальцами. Я замер. Но Казимир Войцехович, щурясь, лишь досадливо переступил через лужу, проворчал себе под нос что-то о

необходимости лучше вытирать пол и скрылся в гулком каменном коридоре.

Я шумно выдохнул. Руки дрожали. Нужно было что-то решать.

Я принял решение. На следующую ночь я не пошел спать в свою тесную каморку при котельной. Запасшись толстым овечьим одеялом, я затаился в самом темном углу оранжереи, за массивной кадкой с фикусом Бенджамина, чьи густые плакучие ветви образовывали зеленый шатер.

Ночь была глубокой и безлунной. Из приоткрытых дверей, ведущих через крытые переходы к главному зданию дворца, доносились приглушенные меланхоличные звуки фортепиано. Пан Огинский снова не спал. В последнее время его все чаще терзала бессонница и горькая тоска по безвозвратно ушедшим временам. Он сочинял. Из-под его пальцев рождалась музыка, полная тихой боли и сдержанной печали — наброски очередного меланхоличного полонеза. Эта музыка обволакивала оранжерею, просачивалась сквозь листву, убаюкивала, сплетаясь с мерным тиканьем башенных часов и потрескиванием дров в топке.

Я начал клевать носом, когда воздух в оранжерее внезапно изменился. Он сгустился, стал

плотным, как перед сильной летней грозой. Знакомый до дрожи запах каленой сажи и мокрой золы ударил в ноздри, мгновенно прогнав сон. Из густой тени пальмовых листьев бесшумно, как текущая вода, выскользнула фигура.

Я до боли стиснул зубы, чтобы не издать ни звука. Существо было нескладным и уродливо сгорбленным. Оно передвигалось на двух массивных ногах, но его спина была выгнута так сильно, что казалось — вот-вот упадет на четвереньки. Все его тело покрывала темная свисающая шерсть, насквозь влажная от тропического пара. Его длинные непропорциональные руки почти касались мраморного пола, а на конце каждой тускло поблескивали длинные загнутые когти.

Биндас. Дух закопченных деревенских бань. Древняя хтонь, рожденная в те темные времена, когда люди еще жили в полуземлянках, носили шкуры и в священном ужасе молились открытому огню.

Я смотрел на него из своего укрытия, и в голове разрозненная мозаика слухов складывалась в единую трагичную картину. В последние годы крестьяне в окрестных деревнях начали массово перестраивать свои бани — ломали старые каменки и ставили белые кирпичные печи с

дымоходами, навсегда избавляясь от едкого дыма. Эпоха черных бань неотвратимо уходила в прошлое. И этот древний дух пара и открытого огня просто потерял свой дом. Гонимый холодом и безжалостным прогрессом, он забрел в усадьбу Залесье и нашел здесь единственное место в округе, напоминающее ему о прежней жизни, — влажное тропическое тепло, подогреваемое кирпичными печами. Он был таким же сиротой, таким же беженцем, ищущим убежища, каким когда-то был я сам.

Монстр, неуклюже переваливаясь, приблизился к мраморному столику. Двумя когтями он подцепил фарфоровую чашку с остатками остывшего кофе — жест, требующий поистине ювелирной координации, — и поднес ее к своему лицу. Сквозь слипшуюся шерсть я разглядел, как он трубочкой вытянул черные губы и шумно, с раскатистым хлюпаньем, втянул темную жидкость до последней капли. Существо блаженно зажмурило большие светящиеся глаза и тихо довольно заурчало, словно гигантский кот. Затем Биндас аккуратно, чтобы не звякнуть, поставил чашку точно в центр блюдца и повернулся к кусту орхидей. Прежде чем коснуться стебля, он медленно постучал когтями друг о друга — три

коротких сухих щелчка, точь-в-точь тех самых, что я слышал пятнадцать лет назад на промерзшем полке курной бани. Кресало. Тот же самый жест, та же ритмичная дробь. Это был он. Тот самый дух. А потом кончиком когтя поправил загнувшийся стебель, чтобы тот тянулся к свету фонаря.

Я долго еще сидел неподвижно, не смея даже моргнуть. Существо тем временем обошло всю оранжерею по периметру, задерживаясь у каждого растения, словно дозорный — у каждого своего поста. Оно осторожно раздвигало листья длинными когтями, принюхивалось к стеблям, снимало засохшие бутоны. Один раз Биндас замер у молодой финиковой пальмы, которую я сам безуспешно пытался выходить уже третью неделю: нижние листья упорно желтели. Дух присел на корточки, зачерпнул когтями землю из кадки, поднес к носу, недовольно фыркнул и начал аккуратно рыхлить слежавшийся ком, запуская пальцы глубоко, до самых корней. Движения были медленными и точными, как у опытного лекаря, промывающего рану.

Мне нужно было уходить. Каждая жилка в моем теле кричала: беги. Беги сейчас, тихо, пока оно отвернулось. Выскользни через котельную,

запрись в каморке, засунь голову под подушку и притворись, что ничего не видел. Утром выйдешь — а все по-прежнему: непонятные срезы на ветках, допитый кофе, запах гари. Можно жить с неизвестностью. Нельзя жить с тем, что ты видел чудовище и оно видело тебя.

Я начал медленно, по вершку, отползать назад. Колено задело глиняный черепок, и тот с предательским скрежетом проехал по каменному полу. Я замер, вжавшись в землю. Биндас поднял голову. Его ноздри раздулись. Он повел носом в мою сторону — один раз, другой — и снова вернулся к пальме, видимо списав звук на привычный треск остывающих печных труб.

Я дополз до двери котельной. Одно движение — и я по ту сторону. В безопасности. Рука уже легла на холодную кованую ручку.

И тут я остановился.

Перед глазами — с той пронзительной ясностью, с которой память подбрасывает самое важное именно тогда, когда ты готов совершить ошибку — встали ледяные доски полка в курной бане. Семилетний мальчишка, свернувшийся в клубок. Треск горячих камней. Хриплый вздох существа, которое могло раздавить ребенка одной лапой, но вместо этого вдохнуло жизнь в

мертвую печь.

Оно не тронуло меня тогда. Оно спасло меня. А я собираюсь бежать от него сейчас, как неблагодарная дворовая шавка.

Я убрал руку с дверной ручки. Постоял, прижавшись затылком к сырому камню стены. Сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен во всех трех галереях. Потом глубоко, со свистом, втянул горячий влажный воздух и медленно повернул обратно.

В моей груди вместо парализующего ужаса разлилось странное щемящее тепло. Панический страх ушел, уступив место глубокому, почти братскому пониманию. Я помнил ту ледяную ночь. Я помнил свой неоплатный долг.

Осторожно, стараясь не скрипнуть подошвой, я медленно поднялся на затекшие ноги и вышел из-за кадки прямо в желтый круг тусклого света. Биндас мгновенно замер. Его глаза вспыхнули во тьме яркими красными угольками. Существо издало низкое угрожающее шипение, как если бы кружку воды выплеснули на раскаленную каменку. Руки сжались в кулаки, когти скрипнули.

Я не отвел взгляда, хотя сердце билось где-то в горле. Медленно, держа пустые руки на виду, я достал из кармана передника румяную глянцевую

баранку. Настоящую сморгонскую — из тугого обварного теста, твердую как камень. Когда-то медвежьи поводыри из местной «Медвежьей академии» пекли их для дрессированных медведей, а потом они стали любимым лакомством к чаю по всему краю.

Я сделал осторожный шаг вперед, положил баранку на край мраморного стола и плавно отступил, пряча руки за спину.

— Ешь, — тихо, но твердо сказал я в насыщенный влагой полумрак, глядя прямо в пылающие глаза. — Я помню баню. И я отдаю долг.

Секунду ничего не происходило. Музыка из дворца смолкла, в воздухе повисла звенящая тишина. А затем когтистая лапа молниеносно метнулась к столу и сгребла угощение. Существо отшатнулось в темноту. Оттуда донесся громкий хруст ломающегося теста и откровенно довольное чавканье.

Я шумно выдохнул, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Наш негласный договор о ненападении был заключен.

С той ночи мы делили это замкнутое пространство, жили в добром соседстве. Я обеспечивал дрова, воду и скрывал его присутствие, а ночной гость с удовольствием подъедал твердые

баранки, допивал барский кофе — который я стал делать чуть слаще — и незримо ухаживал за верхними ярусами растений, куда он с легкостью забирался благодаря своим длинным рукам и когтям.

Баранки я покупал на водяной мельнице пана Завадского, стоявшей в полуверсте от усадьбы, ниже по течению Драй. Раз в неделю, даже в самый лютый мороз, я добирался туда по узкой тропе через замерзший ольшаник. Мельница была старая, почерневшая от сырости, но работала исправно: тяжелое дубовое колесо медленно вращалось под напором темной воды, бьющей из-под ледяной корки, и жернова перемалывали зерно в муку с ровным утробным гулом, от которого подрагивал дощатый пол. Мельник, сутулый молчаливый белорус по имени Змитер, пек баранки в пристроенной к мельнице печурке и продавал их за копейку пара. Он никогда не спрашивал, зачем мне столько, — мельники вообще народ неразговорчивый.

Обратная дорога шла мимо заброшенной бани на самом краю деревни Подлипки. Каждый раз, проходя мимо, я замедлял шаг. Баня стояла без крыши — стропила обвалились еще осенью, и теперь внутрь намело сугроб почти до притолоки.

Каменка была разобрана, камни растащили на фундамент для новой, белой. Это была последняя черная баня в округе. Больше Биндасу возвращаться было некуда.

Однажды вечером, в середине января, пан Огинский задержался в оранжерее дольше обычного. Он уже допил свой кофе, но не уходил — сидел, откинувшись в плетеном кресле, и рассеянно перебирал пальцами по подлокотнику, словно по невидимой клавиатуре. Я в это время менял воду в поддонах у орхидей и старался быть как можно незаметнее — граф, погруженный в свои мысли, не любил, когда его беспокоили.

— Ян, — вдруг негромко позвал он, не поворачивая головы.

Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил глиняный кувшин.

— Да, пан Огинский?

— Подойди-ка.

Я поставил кувшин и подошел, вытирая мокрые руки о передник. Граф кивнул на стул напротив — жест немыслимый в обычных обстоятельствах, ведь слуге не полагалось сидеть в присутствии хозяина. Но Огинский в такие вечера словно забывал о сословных границах.

— Скажи мне, — начал он задумчиво, глядя

куда-то в гущу папоротников, — тебе не кажется, что эта орхидея, — он указал тонким пальцем на Cattleya labiata, гордость коллекции, — в последнее время стала как-то особенно хороша? Я привез ее из Неаполя четыре года назад, и она ни разу не цвела так пышно. Даже в Италии.

Я осторожно присел на краешек стула, выпрямив спину.

— Зима нынче суровая, пан Огинский. Может, ей понравился контраст. Снаружи — смерть, а здесь — тепло. Растения это чувствуют. Они… благодарны, когда о них заботятся.

Граф повернулся ко мне и посмотрел внимательно, с той особой мягкой проницательностью, которая отличала его от других хозяев, которых я знал в детстве. Те смотрели сквозь слуг. Этот — в них.

— Благодарны, — повторил он тихо и усмехнулся — не весело, а так, как усмехаются люди, заставшие себя за сентиментальностью. — Слушай, не обращай внимания. Старик после полуночи делается невыносим. Но знаешь… Мой учитель музыки говорил, что лучшие мелодии рождаются зимой. Когда снаружи невозможно жить, вся жизнь уходит внутрь. Или в музыку, или, — он обвел взглядом зеленый свод, — вот в это.

Он помолчал, потом добавил, будто обращаясь к самому себе:

— Знаешь, Ян, в Варшаве у меня был дворец о сорока комнатах. А теперь я радуюсь, что орхидея пережила ночь. — Он коротко рассмеялся, но смех вышел сухой. — Смешно, правда? Но вот какая штука: то, что ты спас от гибели собственными руками, оно… как-то роднее становится. Роднее того, что просто досталось.

Он поднялся, плотнее запахнул плащ и коротко кивнул мне — почти по-товарищески.

— Береги их, Ян. Ты хороший садовник. Лучше, чем сам думаешь.

Когда его шаги стихли в галерее, я долго сидел неподвижно, чувствуя странный комок в горле. Граф не знал, что половину его похвалы заслуживал ночной гость, спящий сейчас где-то под самым потолком. Но слова о том, что спасенное становится родным, точно описывали то, что я чувствовал и к саду, и к Биндасу.

Эта странная идиллия продолжалась до конца января, пока не случилось страшное.

Крещенские морозы ударили с такой чудовищной яростью, будто сама зима, взбешенная нашим вызовом, решила наказать людей. Небо заволокло глухой пеленой. Ветер ревел в колоннах

портика, швыряя в стекла оранжереи пригоршни жесткого колючего снега. Температура внутри начала стремительно падать. Я метался между тремя топками как безумный, весь черный от сажи и золы. Тяга в трубах из-за ураганного ветра была слишком сильной — сухие дрова прогорали мгновенно, а жар тут же выдувало через щели в высоких стеклянных сводах.

На огромных окнах изнутри начала расти корка искрящегося инея. Она ползла по стеклу, извиваясь, как кристаллический мох, неотвратимо подбираясь к нежным листьям теплолюбивых растений.

— Давай же, разгорайся, проклятая! — хрипел я сорванным голосом, закидывая в воющее жерло топки последние мокрые сосновые поленья.

Я не спал уже вторые сутки. Но стихия была сильнее человека и теплоемкости кирпича. Листья орхидей безвольно поникли и начали чернеть по краям. Еще час, и вся бесценная коллекция погибнет, превратившись в хрупкие ледяные скульптуры. Дров в котельной больше не было — я сжег все до последней щепки, а выйти наружу в бушующий буран было равносильно гибели.

Я бессильно осел на ледяной каменный пол

у остывающей печи. Мышцы свело судорогой. Я чувствовал, как от пронизывающего холода меня неумолимо клонит в сон — тот коварный сон, что предшествует замерзанию. Я подвел хозяина. Я подвел свой сад. Глаза начали тяжело закрываться.

Вдруг пространство надо мной потемнело. С верхних ярусов с громким хрустом, тяжело спрыгнул Биндас. Дух казался намного больше обычного — вся шерсть стояла дыбом. Его глаза пылали не просто красным, а неистовым бело-голубым огнем, как сердцевина кузнечного горна. Он осмотрел меня, полузамерзшего, затем перевел взгляд на покрывающиеся морозным узором окна и чернеющие орхидеи.

Монстр понял все.

Существо издало низкий вибрирующий звук, от которого задрожали стекла в рамах, и гигантскими прыжками бросилось к большим дубовым бочкам с водой. Ударил тяжелым кулаком по тонкой корке льда, зачерпнул ледяную воду своими огромными лапами-ковшами, поднял над головой и выплеснул прямо на себя.

Раздался оглушительный шип, похожий на залп пушки. Вода, коснувшись его шерсти, мгновенно испарилась, превратившись в облако

раскаленного пара. Биндас, дух черной бани, применял самую суть своей природы — раскалял собственное тело до температуры печных камней. Раз за разом он обливал себя ледяной водой, терпя немыслимую боль от колоссальных перепадов температур.

Оранжерея за считаные секунды наполнилась густым обжигающим туманом. Монстр носился вдоль стеклянных стен, оставляя широкий шлейф спасительного тепла. Там, где он проходил, ледяная корка на окнах начала стремительно таять, сползая вниз журчащими ручьями. Густой пар обволакивал погибающие растения, согревал промерзшие жилы, возвращал к жизни увядшие бутоны. Тропики с триумфом вернулись под стеклянный купол.

Волна тяжелого тепла добралась и до меня, как толчок в грудь выталкивая из смертельной дремоты. Я громко закашлялся, отполз в дальний угол и, окончательно лишившись сил, провалился в тяжелое спасительное беспамятство — слыша сквозь сон лишь бесконечное шипение испаряющейся воды и натужное дыхание духа.

Утро выдалось ясным, морозным и звеняще тихим. Буря выдохлась, оставив после себя сияющие на солнце сугробы в человеческий рост.

Сквозь остатки тяжелого сна я услышал, как, скрипнув промерзшими петлями, распахнулась дубовая дверь из дворца. Послышались легкие уверенные шаги.

Пан Огинский вошел внутрь, наверняка ожидая увидеть царство поникшей черной листвы. Но вместо ледяного склепа его на пороге обдало волной тропического тепла. Наша оранжерея не просто выжила — она торжествующе жила. Листья лимонов, ветви папоротников и лепестки спасенных орхидей блестели от росы, словно после теплого летнего ливня. Каменный пол был залит лужами оттаявшей воды, в которых отражалось утреннее солнце.

— Боже мой… Это совершенно невероятно… — потрясенно прошептал композитор, останавливаясь и озираясь по сторонам.

Я приоткрыл один глаз, но не пошевелился, притворившись спящим. У меня не было сил даже пошевелить пересохшим языком. Хозяин снял замшевую перчатку и бережно, почти не дыша, коснулся цветущей ветки лимона, проверяя, не мерещится ли ему это чудо. Убедившись в реальности, он обернулся и заметил меня.

Я лежал, свернувшись калачиком, в задубевшем переднике с перебинтованными окровав-

ленными тряпками руками у давно остывшей печи. Вокруг не было ни единого полена. Чудо было не только прекрасным, но и совершенно необъяснимым.

Пан Огинский долго, в полном молчании, стоял надо мной. Он не стал грубо будить меня, не стал требовать отчетов и задавать вопросы, на которые в просвещенном девятнадцатом веке не существовало ответов. Он просто молча расстегнул серебряную фибулу, снял свой подбитый медвежьим мехом плащ, бережно укрыл им мои дрожащие плечи и так же тихо вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

Мудрый человек всегда знает, когда тайну лучше оставить нетронутой.

Когда шаги графа стихли в гулкой галерее, я с огромным трудом сел. Тело ломило, в горле пересохло, но я дышал. Я был жив. И мой сад был жив.

Я оперся о влажную стену и медленно поднял глаза к стеклянному потолку. Там, на самом верхнем ярусе балок, в тени раскидистой финиковой пальмы, свернувшись в тугой клубок, спал Биндас. За одну ночь он изменился до неузнаваемости — казался теперь совсем крошечным, размером не больше крупной дворовой собаки.

Его некогда густая шерсть стала блеклой, редкой и посерела, словно покрылась слоем вековой пыли. Он отдал этой ночью почти всю свою древнюю силу, чтобы спасти этот хрупкий человеческий мир за стеклом.

Устало улыбнувшись, я ощутил, как по щеке катится горячая слеза. Поднявшись на непослушных ногах, я подошел к мраморному столику. Разводить огонь было не из чего, но это и не потребовалось. Медный кофейник, приготовленный с вечера, был еще горячим — видно, Биндас сжал его в ладонях напоследок, прежде чем забраться наверх.

Я налил самую большую фарфоровую чашку до краев крепкого обжигающего кофе и щедро насыпал туда четыре большие ложки колотого сахара. Затем аккуратно положил рядом на белоснежной кружевной салфетке две самые румяные сморгонские баранки.

Я почтительно отступил на шаг и низко поклонился темному углу под потолком.

Екатерина Доу. Трое в машине, считая собаку


Екатерина Доу
Трое в машине,
считая собаку

В Беларуси волков-оборотней звали волколаками. Отличить волколака от волка можно по глазам: взгляд их описывается как слишком разумный для животного, так как человеческий интеллект сохраняется и в звериной форме. В человеческом облике волколака можно узнать по волосам на голове, которые напоминают волчью шерсть.

К сожалению, волки не носили очков.

Евгений Анатольевич прищурился, разглядывая дорожный указатель и пытаясь собрать вместе пляшущие белые буквы. Плохое зрение и не выветрившийся даже после прогулки алкоголь мешали, но он поднялся на задние лапы, кое-как опираясь передними на железный столб указателя, и присмотрелся еще раз. Ему надо было вернуться к коттеджу, и он определенно проезжал этот указатель по пути, но куда потом свернул?..

…Белое сияние фар приближающегося автомобиля вынырнуло из-за поворота, и Евгений Анатольевич с ворчанием опустился на все лапы в попытках сойти за большую собаку или странной формы кустарник на обочине. Ему

не хотелось спешно удирать через поле до ближайших кустов, и водители редко обращали пристальное внимание на то, что там в ночи мелькнуло за обочиной. К его растерянности, машина затормозила рядом с ним, и он замер в свете фар. Острая головная боль, усугубляемая начинающимся похмельем, привела ко второй ошибке: он позволил человеку приблизиться.

— Ты потерялся? Ого, ты большой… Наверное, из деревни сбежал, да? Или на стоянке выскочил? Ну, тише, тише, хороший мальчик, не бойся…

Сквозь ослепительный белый свет, от которого слезились глаза и хотелось прижаться к земле, протянулась рука и потрепала его по холке.

Евгений Анатольевич клацнул зубами скорее от растерянности, чем от злобы. Чтобы его, уважаемого человека, начальника отдела, трепали как домашнего бобика…

— Блин, мне вообще не по пути… Еще и сеть не ловит. Ладно, давай я тебя заберу, а там поищем твоего хозяина, да?

Рука сгребла его за шерсть на шее и потянула за собой. Пытаясь проморгаться, волколак попытался рвануться в сторону спасительного леса, но вместо этого лишь влетел головой в ногу парня.

— Уф! Не дури! Давай, сюда, кыс-кы… Ко мне,

ко мне!

Щелкнула дверь машины. Евгений Анатольевич оскалил зубы и попытался зарычать, но из горла вырвался только сдавленный от неловкости скулеж. Его подпихнули в спину над хвостом, побуждая забраться на заднее сиденье старенького фольксвагена. Он уперся лапами в землю и пригнул голову, поднял верхнюю губу в оскале, пытаясь показать клыки. Драть человека зубами и когтями не хотелось. Он все-таки уважающий себя цивилизованный волколак, а не дикий зверь…

— Ого, а что у тебя с ногами? Давай-ка к ветеринару тебя отвезу… Надеюсь, не больно, блин, а я даже не знаю, где тут круглосуточную станцию найти. Хотя вроде ты в порядке? Тогда хозяину будет легко тебя найти, особые приметы, все такое. У ба кошка тоже хромая, знаешь?

Евгений Анатольевич поджал уши и практически лег грудью на нижний порожек двери, пытаясь казаться меньше и вместе с тем мешая запихивать себя в машину. Вывернуться между боком машины и парнем не хватало места. Кусаться все еще не хотелось. Привлекать внимание к вывернутым коленям — тем более.

От обычных волков волколаки отличались

человеческими глазами и устройством суставов на задних лапах. Еще, конечно, человеческим разумом и воспитанием. От людей… Евгений Анатольевич не раз слышал, что у него тяжелый взгляд из-под густых бровей, и Лилечка шутила, что из шерсти на его груди можно косички заплетать, но в остальном он был обычным мужчиной тридцати восьми лет от роду: порядочным семьянином, главой отдела программного обеспечения в небольшой, но уважаемой компании, и наследником бабкиного колдовского дара. Дар выражался в хорошем чувстве погоды, безупречном везении в азартных играх и умении обращаться волком, перекинувшись через лезвие.

И сейчас от человеческого облика его отделял один неприятный момент — отсутствие ножа.

— Давай, забирайся, мальчик! Давай, давай! Мне ехать надо, ну же, — его снова подпихнули в то, что он вежливо назвал для себя нижней частью спины.

Внезапная мысль догнала Евгения Анатольевича: в глуши под Солигорском не так много дорог. Может быть, парень доставит его как раз в тот коттеджный поселок, где они отмечали корпоратив. А там он выберется из машины, доберется

до своего верного ножика, воткнутого в пенек, и перекинется обратно. Волколак перестал сопротивляться и позволил затолкать себя на заднее сиденье.

Хлопнула дверца.

Внутри машины пахло сигаретами, пирожками из макдака, жевательной резинкой и пыльной затхлостью давно не чищенного салона. Похмельная головная боль снова напомнила о себе. Евгений Анатольевич, чувствуя себя огромным и нелепым в небольшом замкнутом пространстве, попытался устроиться на потертом сиденье. На полу валялся смятый пакет из-под фастфуда, из сетки сзади на водительском кресле торчал моток проводов и полупустая пачка жвачки, а на спинке пассажирского красовалась полустертая надпись из трех букв.

Парень обошел машину, забрался на водительское место, ободряюще улыбнулся волколаку в зеркало и завел мотор. Евгений Анатольевич с мелочным раздражением отметил, что поворотник при начале движения он не включил. Только сейчас он смог рассмотреть своего «спасителя» — лет двадцати, среднего роста, худощавый, с растрепанными светло-русыми волосами и мешками под глазами. Студент, видимо, — и последние

числа мая как раз, скоро летняя сессия. С легкой ностальгией Евгений Анатольевич вспомнил годы учебы в радиотехническом.

— Ну что, не трусь, найдем твоего хозяина, все хорошо будет. И глаза у тебя умные, сразу видно, домашний, — парень снова улыбнулся, глядя больше в зеркало, чем на пустую узкую дорогу, видневшуюся в лобовом. Евгений Анатольевич отвернулся и уставился в окно, пытаясь различить за елками и березами огни домов. Он не мог далеко уйти от коттеджей, хоть и позволил себе увлечься чарующими запахами и звуками ночного весеннего леса. Надо чаще выбираться на природу… Вот достроят они с Лилечкой дом в следующем году, квартиру сдадут, а сами будут жить за городом, рядом с лесом и речкой. И он будет гулять, как все врачи твердят, — хоть десять тысяч шагов, хоть все двадцать, а может, даже и волком станет бегать.

Дорога впереди оставалась пустой, только асфальт блестел ночной росой в свете фар. Парень принялся напевать себе под нос, барабаня по рулю пальцами и периодически зевая до щелчка в челюсти. Поерзал. Открыл пониже окно, впустил прохладный воздух. Скривился и сонно потер глаза. Евгений Анатольевич заметил под ногами

на коврике смятую банку из-под энергетика и еще одну, брошенную на приборной панели.

— Эх, собаня, жаль, ты не разговариваешь. Блин, я думал, Серый со мной поедет, а у него дела… Еще и на телефоне два процента. Ну ничего, бывают такие дни, зато завтра будет лучше!

Голос парня скакал, как линия кардиограммы, то воодушевленно повышаясь, то падая до невнятного бормотания. Лишь бы не заснул за рулем, подумал Евгений Анатольевич. Иначе придется все-таки перелезть через сиденье и укусить его.

В зеленых стенах по обе стороны дороги не появлялось ни огней, ни развилок. Мелькнула пара съездов на проселочные дороги, но волколак точно помнил, что к коттеджам вел асфальт. Ему придется хорошо подумать, что сказать коллегам. В лучшем случае они решат, что не слишком компанейский Евгений Анатольевич устал и каким-то образом сумел вызвать себе такси. В худшем — что он свалился в прудик и утоп. Хотя, скорее всего, в третьем часу ночи его не хватятся.

Спустя десять минут Евгению Анатольевичу стало очевидно: его везут не в сторону коттеджного поселка. Скорее всего, даже наоборот.

Ему срочно был нужен нож.

Стараясь двигаться ловко и незаметно, насколько это возможно для огромного волка на заднем сиденье небольшой машины, Евгений Анатольевич изогнулся и протиснулся между передними сиденьями. А затем ударил лапой по бардачку, пытаясь его открыть.

— Ты что делаешь!.. — От неожиданности водитель вильнул по дороге, благо, все еще пустой, и резко ударил по тормозам.

Евгений Анатольевич впился когтями в спинки сидений, чтоб не улететь мордой в лобовое стекло. Бардачок открылся. Из него волной хлынули смятые упаковки от сигарет, чипсов и протеиновых батончиков. Неловко выскользнул чехол для наушников. Внутри остался только набор отверток в прозрачном чехле. Евгений Анатольевич рванулся вперед и принялся отчаянно рыться в мусоре. Неужели?.. Неужели ни одного лезвия?.. Сам он по давней семейной традиции всегда возил с собой по крайней мере два. Позже Лилечка подсказала ему, что привычка вертеть в руках ножик в сочетании с тяжелым взглядом из-под кустистых бровей и густым полесским говором не добавляли однокурсникам желания с ним дружить. Благо саму Лилечку это скорее

насмешило, чем напугало, и она согласилась пойти на свидание с неловким и оттого еще более хмурым второкурсником.

Евгений Анатольевич в отчаянии принялся тыкаться носом в откидные панели у лобового стекла. Одна панель откинулась, и он уставился на засунутый в сетчатый карман студенческий билет на имя Тимошина Алексея Игоревича.

— О, вот где он был! Блин, я думал, объяснительную писать придется…

Парень — Алексей — протянул руку мимо носа приунывшего Евгения Анатольевича и забрал карточку.

— Но ты это, давай на заднее? Не пугай так!

Полный мрачных дум волколак послушно полез назад. Его везли неизвестно куда — и в машине не было ни одного ножа.

Короткий взгляд на телефон Алексея на приборной панели лишь усилил тоску: экран мигнул последним предупреждением и погас. Не осталось даже потенциальной возможности лапами и носом набрать Лилечке — Евгений Анатольевич не возражал бы, если бы она оказалась «хозяйкой потерявшейся собаки».

— Ну что ты приуныл? — Студент потрепал его по ушам. Он только коротко дернул лапой в

ответ на такую наглость. — Думал, там вкусное, да? Ничего, я тебе что-нибудь куплю, когда до города доедем.

Машина снова тронулась, продолжая путь среди тех же глухих елок, перемежаемых редкими указателями и просветами полей. Евгению Анатольевичу оставалось лишь надеяться, что там, куда они едут, найдется хотя бы один чертов нож, до которого он сможет добраться. И что его собственный телефон, скрытый вместе с одеждой под волчьей шкурой, будет заряжен, чтобы вызвать такси и убраться от стыда подальше.

А пока он устроил голову на лапах и попытался смириться. Алексей снова запел-забормотал себе под нос.

Едва Евгений Анатольевич начал задремывать, автомобиль снова притормозил. Пришлось открыть глаза и приподняться на сиденье.

Фольксваген вильнул, поднимая колесом волну пыли с обочины, и остановился.

Непонятно откуда взявшаяся среди леса девица в чем-то белом, обнажающем крепкую шею и верх груди, призывно улыбнулась и склонилась к окну. Темные кудри красиво вились по белой коже.

— Добрый человек, помоги…

Евгений Анатольевич приподнялся, упираясь холкой в крышу машины, и зарычал. Мавка испуганно моргнула и дернулась от окна. Морок сбился, и лицо ее стало больше похоже на блин с дырочками, а кудри — на мокрых ужей.

— Тише! Тише, сидеть! Не пугай! — прикрикнул Алексей неожиданно строго. — Ты прости, я его подобрал, везу к ветеринару, а там поищем хозяина, но садись… — Он наклонился, спешно перекинул рюкзак с пассажирского сиденья назад, едва не заехав волку по морде, дотянулся до ручки двери и открыл ее навстречу девушке.

Мавка попыталась отступить. Евгений Анатольевич извернулся в пространстве между сиденьями, демонстрируя в окно полную зубов пасть. Алексей отстегнул ремень и принялся выбираться с водительского места, видимо желая и дальше нести в мир беспощадную доброту. Мавка развернулась к нему, невольно показывая волколаку спину — простая белая рубаха натягивалась на плечах, а ниже колыхалась, прикрывая дыру в спине и облепляя края ребер.

— Давай я тебя до города подвезу? Ты заблудилась? Меня Леша, кстати, зовут!

Евгений Анатольевич поставил лапы на спинку пассажирского кресла и снова оскалился. Но

мавка, зажатая между машиной и встревоженным и полным добрых намерений Алексеем, уже рванула ручку и скользнула на сиденье.

— Д-да, спасибо. До города. — Она разворачивалась вслед обходящему машину вдоль капота Алексею, как подсолнух за солнцем.

— Я, вообще, в Мозырь еду, мне до утра успеть надо, но тебе куда? Телефон потеряла? Дать позвонить? А, точно, он же разряжен, прости! Блин, ты как посреди леса оказалась, заблудилась?

— Да. Заблудилась. Потеряла. — Мавка сидела смирно, и Евгений Анатольевич убрал лапы и снова улегся на заднем сиденье. Только потому, что лесная тварь была достаточно запугана и вела себя смирно, разумеется, а не потому, что Алексей потянулся щелкнуть «собаку» по носу.

— Тогда хорошо, что я тебя встретил! В Мозырь нормально будет? Или ты где-то тут рядом? Только тебе придется объяснить, куда ехать, навигатор был в телефоне, а телефон, ну, сел, и павербанк я забыл… У тебя нет?

— В Мозырь нормально.

— Здорово!

Ключ со щелчком провернулся, и машина, гудя, начала выбираться с песчаной обочины. И тут же затормозила — Алексей спохватился.

— Ты пристегнись, а то я без ремня вообще не езжу… Ну, почти.

Мавка непонимающе посмотрела на него. Ответный взгляд был не менее растерянным.

— Давай помогу.

Алексей перегнулся через коробку передач, потянул к себе ремень пассажирского кресла и едва не уткнулся мавке в низкий и щедрый ворот рубахи. Дернулся назад, снес локтем с приборной панели банку энергетика, рванулся вперед, чтобы все-таки взять ремень, и еще с минуту тихо ругался, пытаясь его застегнуть. Из просвета между сиденьями вылетела помятая пачка сигарет.

Евгений Анатольевич закатил глаза, что было непросто в волчьем облике.

Мавка промолчала, только ненавязчиво скользнула рукавом по щеке парня и слегка выпятила грудь.

«Фольксваген» с фырканьем завелся и тронулся вперед в неловкой тишине. Алексей продолжал барабанить пальцами по рулю, но петь стеснялся. В салоне теперь пахло застоялой водой, сырой землей и почему-то маками.

Молчание продержалось недолго:

— Духи у тебя… вкусные, блин. Моей бы такие. Где купила?

— Э-э-э-э, ограниченная… эта, коллекция, — ляпнула в ответ мавка. — Очень дорогая.

Евгений Анатольевич рассеянно удивился образованности лесной нечисти. Новенькая, что ли? Или оператор мобильной связи не врал в рекламных заявлениях, что расширил зону покрытия?

— А-а-а, — расстроенно протянул Алексей и снова напряженно уставился в непроглядную темноту за лобовым. — Ничего, сейчас заработаю и куплю… Серый сказал, на этот раз точно выгорит. А вообще, это круто, что я тебя встретил, ночью вести тяжело, хочу спать, а так хоть есть с кем поговорить!

В зеркало заднего вида Евгений Анатольевич видел, как проступил ужас на лице мавки. Софт-скиллы Алексея были выдающимися. Местами даже ужасающими.

— Выгорит? — Видимо, мавка решила, что лучше позволить говорить Алексею, и только ему.

— Ну да! Мы такую идею придумали — короче, мерч напечатать, факультетский, но нормальный. Типа с мемами и все такое. И Серый договорился со своим одноклассником, который в типографии работает, что тот напечатает.

Евгений Анатольевич мысленно дополнил:

напечатает подешевле или вообще мимо кассы, и поэтому надо этот заказ забирать аж из Мозыря и посреди ночи.

— Ну а меня попросил забрать, потому что, это, надо успеть до того, как дипломы раздадут. Ностальгия и все такое, нормально заработаем!

Чистое воодушевление в голосе заставило волколака глухо заворчать. Идея была неплоха, но он мог поспорить, что лично Алексей на этом не заработает. Максимум хватит отбить бензин и энергетики.

— М-м-м, здорово, — вежливо протянула мавка и затихла.

Алексей завел эмоциональный монолог про аспиранта, подменяющего лаборанта, подменяющего профессора, который подменяет другого профессора, потому что тот семестр преподавал по личной программе, и теперь отказывается принимать экзамены по государственному стандарту… Волколак снова устроился на сидении, посматривая на мавку. Та казалась не то оглушенной, не то зачарованной.

Белые огни АЗС вынырнули из частокола темных деревьев, как маяк надежды. Оазис. Вся эта нелепая ситуация сделала Евгения Анатольевича слишком сентиментальным. С ее абсурдностью

он уже примирился и даже начал получать странное удовольствие.

Бело-зеленое здание заправки смотрелось среди леса чужеродно. Кожа мавки в ярком электрическом освещении казалась еще более бледной, чуть синеватой. Она поежилась, вжимаясь в кресло идеально прямой, как у балерины, спиной.

Табло с красными цифрами проплыло мимо. Алексей подъехал к колонке и выскочил из машины:

— Я сейчас, сейчас!

Евгений Анатольевич переглянулся с мавкой в зеркале заднего вида. Мавка скорчила рожу: кожа растянулась, как резиновая маска, открывая ряды слишком острых зубов, на лице проступили зеленые, как болотная вода, пигментные пятна. Евгений Анатольевич оскалился в ответ — не меньше острых зубов, шикарные меховые бакенбарды и тяжелый взгляд.

Он мельком взглянул на себя в зеркало — хорош!

— Ну не буду я его жрать, угомонись, зверь!

Евгений Анатольевич вопросительно мотнул головой.

— Да неловко как-то… Он же по-доброму, по-

добрал несчастную потерявшуюся девушку на ночной дороге среди леса. — Мавка прочувственно всхлипнула, вроде даже слезу пустила. — И что я теперь ему скажу? Останови, мил человек, во-о-он у того дерева?

Волколак выразительно кивнул на дверцу и на подступающую к заправке полосу деревьев.

— А там местные меня сожрут, не собираюсь я в разборки за территорию лезть. Откуда увез, туда пусть и привозит… Ладно уж, поеду с ним до города. Посмотрю что-нибудь новое, а потом к себе вернусь на попутке.

Волколак заворчал и уложил голову обратно на лапы. В городе он присмотрит, чтобы эта лесная дева убралась обратно. Мавка повернулась сильнее, опираясь острым локотком на спинку пассажирского кресла, и снова зубасто ухмыльнулась:

— А тебя что, везут к ветеринару чик-чик делать? Или когти стричь и зубы тряпочкой протирать?

Евгений Анатольевич многозначительно прикрыл лапой глаза, демонстрируя полную незаинтересованность в глупых разговорах.

Минуты три было тихо.

Вдалеке хлопнула дверь. От заправки к ним

шел Алексей с кофейными стаканчиками и бумажными свертками. Он приблизился к машине и беспомощно уставился на мавку через лобовое стекло, кивая на дверцу и на свои занятые руки.

Евгений Анатольевич укоризненно посмотрел на мавку. Мавка посмотрела на Алексея и принялась вылезать из машины, стараясь не показывать «спасителю» дыру в спине. Евгений Анатольевич подумал секунду, аккуратно поддел лапой ручку двери и надавил.

Асфальт показался ему, привыкшему к обуви или мягкой земле, жестким, холодным и шершавым. Он недовольно тряхнул лапой и прошел к капоту. Мавка уже держала в одной руке стаканчик кофе, а в другой — хот-дог неестественно розово-оранжевого цвета. Евгений Анатольевич сглотнул. Похмелье отступало, невероятно хотелось есть. Лилечка, конечно, была бы недовольна: опять он на сухомятку засматривается.

— Я и тебе взял, зверюга. — Алексей выхватил сосиску из третьего хот-дога и заманчиво покачал ею перед носом волколака. — Давай, бери!

Мавка понимающе ухмыльнулась. Еще и присербнула из стаканчика. Евгений Анатольевич предпочел этого не заметить, проиграл короткую битву гордости и со всем возможным достоин-

ством аккуратно прихватил зубами сосиску. В желудок она провалилась почти бесследно, оставив легкий привкус во рту.

Алексей с сомнением посмотрел на оставшуюся в руке булочку.

— А тебе такое можно?

Евгений Анатольевич едва сдержался, чтоб не кивнуть.

— Можно ему, — подсказала мавка, — волки всеядные. Санитары леса.

— Да какой это волк! Глаза же добрые. Просто собака большая. Друг рассказывал, что в деревне иногда собака в лес убегает, а потом щенки похожи на волков, но в душе, ну, собаки, только умные очень…

Под очередной поток болтовни Евгений Анатольевич деликатно забрал из расслабленной ладони булку и в два укуса сожрал. Алексей наконец взялся за собственный перекус, жестикулируя то хотдогом, то стаканчиком кофе.

Евгений Анатольевич медленно выдохнул, сел на асфальт и задрал голову, разглядывая край навеса над колонками и проступающее за ним высокое весеннее небо. Белые марочки звезд казались размытыми и засвеченными, но постепенно глаза привыкли, и он смог рассмотреть

Ковш. Эх, хорошо…

— Ай, я же заправиться хотел! — спохватился Алексей и снова бросился к зданию заправки. Мавка, пользуясь моментом, смирно вернулась на пассажирское, и Евгений Анатольевич тоже затрусил к своему месту.

Минут через пять они снова отправились в путь. Небо над кромками все чаще попадавшихся полей начало светлеть, размывая густую синеву первым сереющим светом.

В лучах фар на обочине замаячил человеческий силуэт.

— Езжай дальше, это коряга! — резко бросила мавка и подпустила в салон мороку, пахнущего маками.

Машина вильнула. Евгений Анатольевич вскинулся, присмотрелся и зарычал, проявляя удивительное согласие с лесной тварью.

Блуд печально моргнул глазами, похожими на болотные гнилушки, когда машина пронеслась мимо.

— Ты чего? — Алексей, вцепившийся в руль и едва не съехавший на обочину от резкого крика, обернулся. — Я бы и сам увидел… Показалось, человек стоит, мало ли, помощь нужна.

— Коряга, — уверенно заявила мавка. — Это

была большая и бесполезная коряга.

Евгений Анатольевич мог лишь согласиться. С Алексея сталось бы и блуда подобрать, но тогда бы они до Мозыря не доехали, а свернули бы в болото.

— Ну и ладно! Тут немного осталось уже, скоро доедем! Я тебя, зверюга, на ветеринарную станцию завезу. А тебя, э-э-э… — Алексей только сейчас сообразил, что не знает имени попутчицы, но спрашивать уже было поздновато, — тебя где высадить? Где-нибудь в центре?

— У ветеринарной станции сгодится, — мавка пожала плечами, зачарованно разглядывая мелькающие в окне небольшие деревенские домики и глубокие канавы вдоль полей, заполненные весенним половодьем.

В машине повисла тишина. Евгений Анатольевич вспомнил, как в детстве ездил к бабушке на поезде, и в конце дороги в купе повисало такое же молчание: все сказано, а заводить новые разговоры смысла нет, потому что скоро попутчики расстанутся и никогда больше не увидятся.

Дома подступили к дороге, стали выше. Мелькнул синий указатель городской черты. Небо на востоке стремительно зарозовело.

Адрес ближайшей ветстанции удалось узнать

у спускающихся к реке рыбаков. Это оказалось маленькое одноэтажное здание с бетонными ступеньками. На выгоревшей от солнца вывеске очень счастливый пес лежал рядом с очень растерянным котом и очень усталым кроликом. Табличка на двери гласила, что работать станция начнет лишь в девять утра.

Все трое посмотрели на занимавшийся над городом рассвет.

— Ну, это… вы, может, со мной до типографии?..

Мавка посмотрела на Евгения Анатольевича. Евгений Анатольевич посмотрел на мавку. Ждать девяти утра, потом еще добираться обратно… К тому моменту коллеги явно обнаружат его отсутствие, да и Лилечка заволнуется, если он утром не позвонит. В голове мавки явно бродили схожие мысли.

— Ты езжай. Я тут посижу с собакой.

На лице Алексея облегчение мешалось с муками совести.

— Точно? Блин, ну это я тебя сюда привез… И так получилось.

Мавка и волколак снова переглянулись, и последний постарался всей мордой выразить согласие.

— Точно.

— Ну ладно… — Алексей еще немного помялся. Наклонился потрепать волколака по холке, что тот стерпел лишь в качестве прощальной милости. — Пока, что ли?

— Прощай. Хороший ты парень, Леша. Только добрый слишком. Возишь на себе всех подряд. Повезло тебе сегодня, что ничего не случилось, — неожиданно серьезно выговорила мавка. Евгений Анатольевич заворчал, соглашаясь. Алексей растерянно моргнул светлыми ресницами:

— А что теперь, не помогать?

Мавка только вздохнула, приподнялась на цыпочки и прижалась губами к его лбу, крепко обхватив ладонями лицо. Когда отстранилась, на коже парня остался мокрый отпечаток.

— Ого… Спасибо! Наверное… Но у меня девушка есть!

— Езжай уже, — отмахнулась мавка. — Дружку своему помогать опоздаешь. А мы тут… Подождем.

Алексей вернулся в машину, помахал им, а затем — с уже знакомым до боли звуком барахлящего двигателя и снова без поворотника — тронулся. Мавка и волколак смотрели, как он отъезжает, то и дело оборачиваясь, чтоб по-

махать.

— Ну что. Теперь моя очередь побыть благодетельницей, а? — Недавнюю серьезность с мавки снесло, как ряску с темной поверхности болота. Слишком уставший, чтобы ссориться, Евгений Анатольевич лишь хмуро глянул на нее и потрусил в сторону ближайших домиков. Может, у кого на дворе хоть топор найдется…

— Да стой ты, дурак! Там окошко приоткрыто.

Мавка указала на тонкую щель между деревянных рам. Видимо, кто-то действительно неплотно закрыл окно, уходя вечером. Она ловко подтянулась на подоконник, мелькнув в воздухе длинными белыми ногами, толкнула раму и провалилась в комнату.

Евгений Анатольевич сел на ступеньки и принялся терпеливо ждать, глядя, как рассветные лучи скользят по мелким речным волнам. Изнутри раздавался скрежет, звон стекла и хохот.

Мавка выбралась минут через десять — с клочками бумаги в волосах и грызя нечто похожее на собачье лакомство.

— На вот! — На землю перед волколаком упал канцелярский нож с желтой рукоятью.

Евгений Анатольевич посмотрел на нож. Мавка, ухмыляясь, впилась зубами в косточку и

посмотрела на Евгения Анатольевича.

Тяжело вздохнув, он напрягся, и…

…Оборот ощущался так, будто он сделал солнышко на качелях. Евгений Анатольевич потряс головой по-собачьи, а затем попытался подняться с четверенек на две ноги. Качнуло, и он вынужденно схватился за ступеньку под насмешливым взглядом мавки. Постепенно ноющая боль в позвоночнике отступила, руки перестали казаться слишком короткими, а земля — слишком далекой. Евгений Анатольевич разогнулся, поправил очки, одернул нелепо задравшуюся рубашку.

— Спасибо.

Мавка только ощерилась в ответ.

Евгений Анатольевич нашел в кармане телефон и пошел обратно к большой дороге. Такси, такси. Точка посадки здесь, точка высадки… Приложение запустило долгий поиск водителя, готового везти его в полшестого утра через половину Полесья, и он, подумав, сменил тариф на более дорогой.

Похоже, удача снова решила повернуться к нему лицом: машина нашлась. Даже ожидание высвечивалось не такое уж долгое. Возможно, к моменту, когда все начнут просыпаться после корпоратива, он даже окажется в коттедже.

Уставший до умиротворения, Евгений Анатольевич снова уставился на реку, любуясь золотистыми отблесками на воде и шелестом рогоза. Минут пятнадцать спустя рядом остановилось такси, и он уже взялся за ручку двери…

— Подвезешь красивую девушку? — Мавка прильнула к его плечу, влажная и холодная, как лягушка.

Евгений Анатольевич молча кивнул. Мавка победно улыбнулась, демонстрируя торчащие меж острых зубов волокна мяса, и принялась устраиваться на пассажирском.

Предстояла долгая дорога обратно.

Марийка Потапович. Свадебное платье

Марийка Потапович

Свадебное платье



В Беларуси у спрятанных сокровищ существовал хозяин – скарбник. Его описывали как существо, которое является в виде седого старика с горящими глазами или животного, например обернувшись черной собакой или кошкой.

I

Саша с ужасом смотрела на длинное атласное платье с плотным корсетным верхом и рукавами-фонариками. Некогда ослепительно белая ткань стала кремово-желтой. Часть мелких жемчужин с пояса потерялась, шлейф был обрезан и подшит грубым недорогим кружевом, оригинальное же — тонкое французское, ручной работы — местами истончилось и выглядело чрезвычайно хрупким. Подобно кружеву начинало изнашиваться и крепкое Сашино терпение.

«Задолбало, — думала девушка, — *как же меня это все задолбало! Во время подготовки собственной свадьбы чувствую себя безвольной марионеткой».*

Диму Саша заприметила на фермерском рынке.

Пахло медом, свежей зеленью и пряной выпечкой. Шум толпы и зычные призывы к покупке

разбавляли популярные мелодии в исполнении дуэта баяниста и скрипача. Высокий голубоглазый светловолосый парень, похожий на медвежонка, выбирал яблоки у прилавка с фруктами. На лице у него играла легкая улыбка, и девушке нестерпимо захотелось улыбнуться вместе с ним.

Проходя мимо, Саша слегка, будто случайно, задела парня плечом. Яблоки покатились по серой плитке.

— Ой, простите! — Саша присела на корточки, помогая собирать фрукты.

— Ничего страшного, — Дима поднял взгляд на лицо незнакомки и неожиданно смутился.

Так началось их лето: прогулки по набережной со стаканами кофе, вечера в парке с книгой, выезды на природу с палатками. Потом осенние домашние ужины и просмотр сериалов под пледом, зимние лыжные вылазки в лес и рождественские ярмарки с ароматным глинтвейном. Весенние перепрыгивания через лужи, будто им снова по десять. И где-то между первым походом и последней весенней грозой они поняли, что хотят провести вместе не только лето или следующий год, но и всю жизнь.

Когда Дима предложил провести свадьбу в

деревне у родителей, Саше эта идея даже понравилась. Не бездушный ресторан или арендованная усадьба с повидавшими тысячи невест арками из искусственных цветов и декором из тюля, а что-то трогательное, душевное. Саша уже представила украшения в стиле рустик, сделанные своими руками, деревянные столы во дворе среди цветущих яблонь… Она так любила аромат яблоневого сада!

Через неделю ее пригласили на знакомство в дом будущей свекрови, и стало понятно, что идея отмечать свадьбу в родительском доме принадлежала вовсе не Диме.

Лидия Ивановна — мать будущего мужа — имела свое представление о том, как должно пройти торжество. И яблоневые сады в это в*и*дение не вписывались.

— В мае жениться — всю жизнь маяться, — отрезала она, поджимая губы-ниточки. Руки скрестила на груди, обнажив острые, как и все в ее внешности, локти.

— Но ведь мы в Беларуси живем, — пыталась свести к шутке Саша, — у нас травень[9], так что маяться не придется.

---

[9] Примечания: 9

Травень — устаревшее название мая на белорусском языке, встречающееся в разговорной речи. *Здесь и далее примечания автора.*

— Так что ж ты, всю жизнь травиться собралась? — изогнула бровь будущая свекровь.

Доводы о том, что примета была придумана во времена, когда свадьбы праздновались всей деревней неделями и могли сорвать посевную, что привело бы к голодному году, тоже были сочтены неубедительными.

Дима в спорах занимал нейтральную позицию. Ему было по большому счету все равно, когда жениться, а портить отношения ни с невестой, ни с матерью не хотелось. Вопрос решился сам собой, когда оказалось, что парня отправляют в длительную командировку, и в мае отмечать никак не получится. Саша восприняла это как знак судьбы и согласилась на летнюю дату.

Но на этом дебаты о формате праздника не закончились. Начались бои за каждого приглашенного гостя и программу, к которым подключился уже и бесконфликтный Дима. Толпы незнакомых людей и череда обрядов вроде выкупа или снятия фаты под аккомпанемент участников местного ДК не прельщали ни жениха, ни невесту.

Лидия Ивановна удар держала со стойкостью профессионального бойца, и молодым то и дело приходилось идти на уступки. Невеста даже подумывала подключить подкрепление в виде

своих родителей, но опасалась, что те примут противоположную сторону, и отбиваться придется с удвоенной силой.

И вот Саша стоит перед тяжелым дубовым сундуком, сделанным руками Диминого прадеда, и смотрит на древнее, раз в пять старше ее самой, платье. В голове зациклился диалог, произошедший пять минут назад, когда Лидия Ивановна позвала «кое-что посмотреть».

— Семейная реликвия, — загадочно заявила она, увлекая детей в свою спальню. С явным усилием отворила сундук и достала платье, которое, казалось, было не легче крышки. — Передается от невесты к невесте. Вот и Димушку моего дождалось, — смахнула она накатившую слезу.

— Ну уж нет, — твердо сказала Саша.

От жесткого тона невестки узкие глаза Лидии Ивановны округлились. До этого свои границы девушка отстаивала мягко, стараясь найти компромисс.

— Это как это? — растерянно прошептала Лидия Ивановна. — Платье это прабабка свекрови спасла из усадьбы Чапских после революции. Подвенечное самой Юзефины Чапской, — женщина выдержала небольшую паузу и продолжила: — Несколько поколений его прятали, берегли.

В нем выходили замуж и я, и свекровь. Бабка и прабабка свекрови-то, конечно, на публике не надевали: времена для платьев аристократских были не те. Но все одно символически в день свадьбы примеряли. А теперь твоя очередь, — она кивнула, будто сказанное должно было убедить Сашу в необходимости соблюсти традицию.

Девушка с неприязнью думала о полуторавековом наряде, не знавшем химчистки, зато помнящим минимум пять пар чужих подмышек. Она представила, как нелепо будет смотреться во главе деревянного стола, выставленного во дворе деревенского дома, в платье графини.

— Вот так, — отчеканила Саша. — Я *в этом,* — она сделала выразительную паузу, — замуж выходить не буду! — и, выдохнув, резко развернулась и вышла из спальни, а потом и из дома.

В лицо ударил порыв свежего ветра, охлаждая разгоряченную голову.

Саша уже жалела о своей резкости, однако сил на уговоры и компромиссы не осталось. Она чувствовала: уступит — и окончательно отдаст нити своей жизни в костлявые руки свекрови.

Следом за невестой выбежал Дима и в первый раз за время подготовки к свадьбе принял сторону матери. Именно в том вопросе, который Саше

казался принципиальным.

Они сидели на двухместных деревянных качелях, которые жених методично раскачивал, упираясь ногами в землю, и смотрели в усеянное звездами небо.

— Понимаешь, — мягко говорил Дима, — это платье и правда важно для моей семьи. С самого младенчества прабабка, а потом и бабушка рассказывали, как чудом спасли его от национализации, разграбления и уничтожения. Мечтали, как моя жена когда-то наденет его, а потом дочь или невестка.

— Если ты знал заранее, почему не рассказал? — едва слышно спросила девушка.

— Честно? Я и подумать не мог, что это станет проблемой. Обычно все девочки мечтают о платье принцессы. А тут настоящее графское.

— Да как ты не понимаешь… — Саша заплакала. — Как ты не видишь, что нашего в этой свадьбе не осталось ничего. Я уже даже в себе себя не нахожу. Тряпичная кукла, сотканная из компромиссов. — Девушка вздохнула, подбирая слова. — Это платье… оно совсем не мое, чужое, старое. От него даже пахнет какой-то древностью. Да оно даже нелепо будет смотреться в этих локациях! — Она обвела рукой двор. — Дима, я устала

от этой подготовки, устала от постоянных споров. Если уже сейчас за нас все решает твоя мать, то что будет дальше?!

Парень выглядел растерянным.

— Сашенька, дорогая… Но ведь это же семейная традиция. Давай так: платье можно надеть символически в день свадьбы, как прабабка, а праздновать уже в том, какое тебе захочется, — Дима вскинул на нее несчастные глаза.

— Опять компромисс? — поморщилась девушка. От этого слова у нее уже начинался зуд.

— Я тебе обещаю, это последний, — взял ладонь невесты Дима.

Саша не ответила. Качели скрипнули, заполняя неловкую паузу. На фоне стрекотали кузнечики. Девушка посмотрела в сторону дома: свет не горел, но у нее сложилось впечатление, что Лидия Ивановна стоит у узкого окна и наблюдает за ними.

— Последний, — тихо проговорила Саша, и Дима понял, что на уступки в ущерб своим интересам невеста и вправду больше не пойдет.

II

Следующим утром Лидия Ивановна пребывала в хорошем настроении. Казалось, даже угловатое

лицо смягчилось.

— Кушайте-кушайте, — хлопотала она, ставя чугунную сковородку мачанки на металлическую подставку рядом с высокой стопкой толстых румяных блинов. — Димочка, что-то у нас табуреты разболтались, посмотришь после завтрака? А мы с Сашенькой пока платье примерим, чтобы чуть что подшить, да? — Она кинула вопросительный взгляд в сторону девушки, как будто боялась спугнуть невестку.

Саше стало стыдно за вчерашнюю сцену. Видимо, для матери Димы это платье и правда много значило. С другой стороны, уже давно следовало показать, что с ее мнением нужно считаться.

Она прошла за Лидией Ивановной в спальню. Платье так и лежало на сундуке.

— Давай, — мягко подтолкнула будущая свекровь.

Саша сняла футболку, на секунду задержав взгляд на своем отражении в зеркале. Плечи были напряжены, лопатки сведены, тело будто готовилось драться или бежать.

Ткань обожгла нежную кожу холодом, словно платье достали из подвала. Атлас неприятно лип к телу, не принимая его тепла. Лидия Ивановна ловко затянула корсет, тот впился в ребра,

косточки давили под грудью, рукава-фонарики упирались в подмышки и кололись. *«Явно при носке будут натирать»,* — недовольно подумала Саша.

А еще платье оказалось неожиданно тяжелым. Девушка не смогла сдержать удивления.

— А то, — ответила Лидия Ивановна. — Натуральные ткани, корсет, французские кружева. Это тебе не современный ширпотреб.

Саша сделала шаг. Ткань как будто на несколько секунд задержалась на месте и только потом нехотя двинулась следом. Каждый шаг требовал усилий.

Девушка подошла к зеркалу, и изумленный вздох вылетел из приоткрытых пухлых губ. Корсет выпрямил спину до неестественной фанерной строгости, плечи казались *уже*, талия — тоньше. Обычно румяное лицо стало почти белым, пропали ямочки на щеках, а ореховые глаза потемнели. На ум пришли легенды о Белых дамах. В спальне стояла скорее одна из них, чем милая Саша.

— Ну вот, — почти шепотом сказала Лидия Ивановна. — Как влитое село.

Саша провела ладонью по поясу. Там, где не хватало жемчужин, ткань была шероховатой.

Вдруг в углу раздалась тихое цоканье. Девушка

повернулась на звук — никого.

— Что? — насторожилась Лидия Ивановна.

— Вы ничего не слышали?

— Нет, — помотала головой женщина.

Цок. На этот раз ближе, как если бы кто-то стоял совсем рядом и неодобрительно щелкал языком.

Плотный корсет как будто сжался еще сильнее. Воздуха категорически не хватало.

— Снимите, пожалуйста, — Саша еле вытолкнула слова из спазмированной гортани.

Лидия Ивановна посмотрела на ее бледное лицо и кинулась расшнуровывать корсет.

— Кажется, перестаралась с утяжкой, — виновато произнесла она.

Девушка жадно глотала воздух ртом.

* * *

Саша долго не могла уснуть. Шум холодильника, ход стрелок настенных часов и даже посапывание Димы — сегодня все звучало нарочито громко, словно гвоздями вбивалось в тяжелую голову. Она лежала с открытыми глазами и считала вдохи будущего мужа. Десять… Двадцать… Опять сбилась. Повернулась на другой бок и начала сначала. Один… Два…

В какой-то момент звуки начали отдаляться.

Димино дыхание стало слышаться словно через воду. Потолок расплылся, мысли потеряли края, тело потяжелело.

Цок — раздалось в комнате. Веки девушки слегка дернулись. *Цок* — теперь прозвучало ближе, громче. Матрас едва заметно прогнулся, как если бы на край кровати оперлись рукой.

Дима все так же мирно посапывал.

Вдруг Саша почувствовала прикосновение в районе щиколотки, обжигающе-холодное, но сухое. Она резко открыла глаза.

Комната выглядела как обычно: из-за занавески пробивался мягкий свет фонаря, шкаф, стул, настенные часы стояли на своем месте, спина Димы мерно поднималась. И все же Саше показалось, что у изножья кровати темнота была гуще, чем следовало бы.

Цок — снова донеслось из густоты, и следом:

— Негоже. — Сухой, как пергамент, голос, казалось, звучал прямо у девушки в голове. — Негоже чужое брать.

Саша попыталась ответить, но язык не послушался. Воздуха вдруг стало критически мало, как утром перед зеркалом. Ребра сжались, спина сама выпрямилась, будто на нее снова надели невидимый корсет.

Темное пятно у кровати едва заметно качнулось и исчезло.

Сердце девушки колотилось, изо рта вырвался тихий всхлип. Дима перевернулся во сне и придвинулся ближе, тяжелая теплая рука легла ей на талию. Щиколотка чесалась. Она осторожно провела пальцами по коже, но ничего не нащупала.

Саша долго лежала, глядя в потолок. В комнате стало абсолютно тихо.

* * *

Следующей ночью все повторилось. Саша лежала тихо, почти не двигаясь. Посапывание Димы, обычно кажущееся родным и уютным, теперь раздражало. Она закрыла глаза, потом снова открыла. Мысли крутились и путались, не давая ухватиться хоть за одну.

Когда сон все-таки накрыл ее, послышалось звонкое *цок*. И опять обжигающие прикосновения, только в этот раз в области голени.

У кровати снова клубилась темнота, а сквозь нее просматривался силуэт невысокого коренастого старика. В одной руке у него была серебряная кирка, в другой — едва разгоняющий густую тьму фонарь.

Цок.

— Негоже. — Казалось, рот гостя еле шевелится, но на этот раз голос прозвучал не в голове, а прямо в комнате: — Негоже чужое брать.

Саша дернулась, но тело будто сковали цепями. Серебряная кирка снова коснулась ноги, и фигура растворилась.

Утром Саша проснулась раньше всех. Голень зудела. Девушка хотела только слегка почесать кожу, но, охваченная иллюзорным чувством облегчения, остановилась, только когда под пальцами выступила кровь. Дима сонно приоткрыл один глаз:

— Ты чего так рано?

— Не спится, — коротко ответила Саша.

Жених зевнул и снова отвернулся к стене.

Девушка вылезла из постели и побрела на двор к умывальнику. Мельком взглянула в отражение: под глазами налились тяжелые темные круги, веки припухли. Она умылась, смыла с голени красные полосы в надежде, что холодная вода уменьшит зуд, но легче не стало.

* * *

Через пару дней Саша уже боялась ложиться спать.

Она убеждала себя, что это просто кошмары из-

за нервного напряжения перед свадьбой. Начала делать дыхательную гимнастику перед сном, отказалась от кофеина, вечером пила мятный отвар. Но каждую ночь, стоило только провалиться в дремоту, старик появлялся вновь. И с каждым разом он виделся все четче, будто убеждая, что это вовсе не сон.

Теперь Саша ясно видела морщинистое лицо землистого цвета, седую бороду до пола и блестящие изумрудные глаза. Меховую шапку, коричневый кафтан и холщовые брюки с грубыми кожаными ботинками. С каждой встречей участки тела, которых касался старик, становились больше. Девушка ходила вся в расчесах, изводимая неутихаемым зудом.

Снова и снова звучало недовольное *«цок»* и *«негоже»*. Иногда он говорил больше, но утром Саша не могла вспомнить конкретных слов.

Она становилась все более раздраженной, плаксивой. Кожа потускнела, иссушилась, под глазами легли тяжелые тени, каштановые волосы сбивались в колтуны, которые невозможно было расчесать. На обеспокоенные вопросы Димы Саша лишь огрызалась. Лидия Ивановна, напротив, вопросов не задавала, но смотрела на невестку осторожно и испуганно.

* * *

После того как старик не жалея прошелся киркой по всему ее телу, Саше хотелось содрать с себя кожу полностью, сбросить, как сказочная Василиса лягушачью шкуру. Но за прошедшую неделю что-то в ней изменилось. Страх и ощущение беспомощности сменила нарастающая ярость.

«Сколько можно меня изводить?»

Саша напрягла обездвиженное тело, собрала все таящиеся в ней силы и с оглушающим трудом выплюнула в бледное старческое лицо:

— Что… тебе… от… меня… надо?! — Ей казалось, что с каждым словом мышцы гортани рвутся, как перетянутые струны, а ребра лопаются, впиваясь в грудь изнутри.

— Чего-чего, ведомо чего, — прокряхтел в ответ старик. — Взяла чужое — расплачивайся.

— Ничего… я… не брала… — все так же отрывисто, сражаясь за каждое слово, ответила девушка.

Снова недовольный *цок.*

— Ну-ну, — гость прищурил светящиеся глаза и с размаху ударил киркой ей в солнечное сплетение.

В глазах у Саши запрыгали светящиеся точки,

и вскоре сознание покинуло тело. Очнулась она только утром, скованная, как саваном, ненавистным свадебным платьем.

— Снимите, — как ненормальная, заорала она, — снимите это с меня!

Разбуженный Дима непонимающе уставился на невесту.

В комнату вбежала Лидия Ивановна. При виде Саши глаза ее расширились. Она быстро стащила с девушки корсет, протянула валяющуюся рядом ночнушку.

— А ну, пойдем, поговорим, — прошептала женщина и чуть громче обратилась к Диме: — Спи, сынок, все нормально.

Она за руку провела невестку на веранду, усадила в плетеное кресло и накинула на плечи плед из овчины. Поставила на конфорку металлический эмалированный чайник, в невысокую пузатую кружку с ягодным узором насыпала трав: мяту, ромашку и еще какие-то незнакомые Саше листья. Девушка наблюдала за плавными, уверенными движениями острых локтей. Сердце ее пульсировало, вибрация отдавалась в кончики пальцев, дыхание было неровным.

Наконец чайник закипел, оповещая об этом резким свистом, от которого плечи девушки

вздрогнули. Будущая свекровь залила травы кипятком и поставила перед Сашей. Та хотела отказаться, но Лидия Ивановна не терпящим возражений голосом сказала:

— Нужно выпить. Я отсюда слышу твое сердцебиение и вижу, как тебя всю трясет. Уж не думаешь ли ты Димку оставить вдовцом до свадьбы? Пей!

Саша послушно сделала глоток.

Лидия Ивановна продолжила уже другим, более мягким и даже испуганным голосом:

— Сашенька, *он* что, приходит к тебе ночами?

— Он? — растерянно переспросила Саша, которая старалась держать свои кошмары в секрете, чтобы будущие родственники не решили, что у нее проблемы с головой.

— Бородатый старик с киркой и фонарем, — на выдохе выпалила женщина.

— Вы… вы что, его знаете? Вы тоже его видите? — заплакала девушка. — Я же думала, что с ума схожу.

— Я… — растерянно пробормотала Лидия Ивановна, — я видела, раньше. Перед свадьбой видела.

Она подавленно теребила в руках льняное кухонное полотенце, взгляд был направлен на

жирную муху, неподвижно сидящую на деревянной стене.

— Как же так, Сашенька? — после короткой паузы начала она. — Я ведь свекрухе рассказала, что вижу эти кошмары наяву, и она пообещала помочь, только взяла зарок, что традицию сохраню, в город не вернусь, тут жить останусь. И что дети мои будут тут жениться, в деревне, в этом же семейном платье, по всем традициям и приметам. Только когда пообещала, она принесла какую-то траву, что-то нашептала, водой окропила и меня, и дом, и платье это, будь оно проклято. И ты знаешь, пропал, пропал ирод. Как уж я радовалась, готова была свекрови руки целовать.

Муха поползла вверх, Лидия Ивановна наконец оторвалась от черной жирной точки и посмотрела Саше в глаза:

— Я чего ж на вас с приметами и традициями и наседала. Не со зла, не от узколобости — чтобы от *него* оградить. А оно вот как, не помогло. Вернулся… И не сделаешь ничего, свекрухи-то нет уже на этом свете.

Саша пораженно смотрела на нее. Колкая, вечно непримиримая и строгая, сегодня она казалась такой напуганной, несчастной.

— А знаешь что? — в голосе Лидии Ивановны

появилась надежда. — А давай-ка мы с тобой к Захаровне сходим. К ней все ходят, кто подлечиться, кто сглаз снять, порчу. И свекруха, помню, ходила за помощью. Может, и нам что посоветует?

Готовая на все, чтобы вернуть себе спокойный сон, Саша только кивнула.

III

В доме знахарки стоял аромат трав и чего-то пыльно-древесного, напоминающего запах старых книг. На полу лежали плетеные циновки, на многочисленных полках расположились пучки сушеных трав и кореньев, баночки с порошками и бутылочки с настойками. Тонкие занавески создавали в комнате легкую полутьму.

Знахарка — пожилая женщина с выцветшими глазами, крючковатым носом и седыми волосами, выбивающимися из-под черной косынки — сидела за обшарпанным столом, обложенным травяными мешочками. Лидия Ивановна и Саша присели напротив, на жесткие деревянные табуреты.

— Ну, рассказывайте, — приказала она скрипучим голосом.

— Захаровна, *он* вернулся, — прошептала Лидия Ивановна и кивнула на Сашу. Та вздохнула и

сбивчиво начала рассказ о ночном госте.

— Ага, — оборвала девушку знахарка. — Вернулся, значит. Так я и думала.

Она потянулась к металлической кружке с ароматным отваром, сделала глоток и со стуком поставила обратно.

— А я, Лидка, свекруху твою предупреждала. Говорила: плакун-трава может и не сработать, есть только один верный способ избавиться насовсем, — знахарка провела ладонью по переднику, будто стряхивая пыль. — Да только слушать она не захотела. Что она, что мамашка ейная носились с этим платьем, не могли забыть, как жили при графском доме. На односельчан смотрели свысока, будто сами графини, — зло сплюнула знахарка.

Скрипнула половая доска, и в комнату зашел черный кот. Его зеленые глаза блеснули в полутьме и напомнили женщинам изумрудные искры глаз ночного гостя. Они одновременно поежились.

— От тебя отогнать смогла. Но новая плоть разбудила его, — подняла знахарка взгляд на Сашу:

— Явно ж после примерки скарбник появился?

Та пораженно кивнула.

— Скарбник? — переспросила Лидия.

— А ты думала, Дед Мороз, что ли? — хмыкнула знахарка. — Конечно, скарбник. Стерег сокровища Чапских, видать, которые бабка твоей свекрухи удумала спасти от расхищения. Да все ж без спросу чужое забрала.

«Негоже брать чужое», — отчетливо услышала Саша и начала раздирать запястье.

— А ну не чеши! — прикрикнула Захаровна и добавила: — Я вам вот что, девки, скажу. Снова отогнать скарбника можно, но сами уже поняли, что не навсегда. А чтобы навеки вопрос решить, платье нужно вернуть. Тем более обе вы из другой семьи, из другого теста. Вижу, вам и традиция эта не сдалась.

— Как вернуть? — прошептала Саша.

— Как-как… платье в руки взяла — и к усадьбе, — ответила Захаровна. — Идти лучше завтра, к полудню, когда ночная нечисть ослабеет. С собой возьмешь монет, воду родниковую, ее хотя бы ночь на плакун-траве настоять надо…

— Как завтра? — Глаза Саши наполнились слезами. — Еще одну такую ночь я не вытерплю!

— Уж на ночь-то его отгоним, — раздраженно махнула рукой знахарка. — Ты не перебивай, а слушай внимательней. — Она продолжила объяснения, а на прощание протянула девушке

мешочек с травами для крепкого сна и банку с мазью: — Этим намажешься, как домой вернешься — до завтра расчесы заживут, а зуд и того раньше пройдет.

Женщины поблагодарили и молча вышли.

Обеим было о чем подумать.

* * *

Дорога от дома до усадьбы Гуттен-Чапского проходила через лесок. Пешком выходило километра четыре.

Дима вызвался проводить невесту. Он нес платье, упрятанное в сетчатый пакет для картошки. Парень не мог поверить в рассказ о скарбнике, но в совместное безумие матери и невесты верилось еще меньше. *«В конце концов,* — решил он, — *не так уж важно, существует этот дух или нет, если обряд поможет Саше вернуть сон и спокойствие».*

Диму грызла вина: если бы он проявил характер, не позволил матери вмешиваться в подготовку к свадьбе, не заставил невесту надеть это платье, возможно, она и не заработала бы нервный срыв.

Он покосился на заброшенный на плечо пакет:

— А и правда необычайно тяжелое.

День выдался солнечный, безветренный. В лесу пахло влажной землей, смолистыми почками и пробивающейся зеленью.

От нетерпения Сашу потряхивало, она все чаще поглядывала на часы.

Деревья расступились, впереди показалось огороженное пастбище. За сетчатым забором лениво бродили лошади с жеребятами и целое стадо овец.

— Хорошие такие, — вырвалось у Саши.

Она всегда питала нежные чувства к животным, а к парнокопытным — особенно. Лошади фыркали и медленно переступали копытами по сочно-зеленой траве, овцы сбились в большое белое облако, которое девушке вдруг захотелось потрогать. Чуть дальше открывалось Графское озеро. По гладкой воде скользила пара лебедей, белых, словно вылепленных из фарфора. Они двигались синхронно, почти касаясь друг друга длинными шеями.

— А ты знаешь, — спросил Дима, — что если лебедь выбирает себе пару, то одну на всю жизнь?

Саша помотала головой, не отрывая взгляда от изящных птиц.

— Будем как лебеди? — спросил Дима.

— Как лебеди, — кивнула она. Потом взглянула

на часы и ускорила шаг.

Полдень был уже близко.

Перед главным зданием усадебно-паркового комплекса раскинулась круглая площадка с деревянными скамейками. Аккуратно подстриженные кустарники и обрамляющая небольшой фонтан клумба с ярко-розовыми тюльпанами и желтыми нарциссами придавали месту ухоженный и современный вид; прослеживалась умелая рука садовников и озеленителей.

Сам дворец, желтый с белой окантовкой вокруг окон и арок, выглядел свежим, и сложно было поверить, что строению более ста пятидесяти лет. Выступающую центральную часть здания украшали арки, по углам усадьбы стояли небольшие башенки с зубцами, наводящие на мысли о средневековых сказочных замках. По бокам от коричневых дверей разместились две таблички: справа — «Институт защиты растений НАН», слева — «Гісторыка-культурная каштоўнасць»[10].

Саша остановилась, осмотрела площадку и дорожки. Все выглядело слишком оживленным, даже нарядным.

— Знаешь, — неуверенно сказала она, — мне ка-

---

[10] Примечания: 10
Историко-культурная ценность (*бел.*).

жется, скарбник в этом здании жить не может…

Задумалась и тихо добавила:

— Наверное, стоит поискать у хозяйственных построек.

Они вышли к бывшему зданию каретной, в котором разместились жилые квартиры, библиотека и центр народного творчества, и свернули на узкую улочку, ведущую к нежилым постройкам.

Первым показался хлебный амбар.

Длинное вытянутое здание с шестью арками выглядело ветхим и постепенно превращалось в руины. Но даже в таком состоянии амбар сохранял какое-то упрямое достоинство, словно не желал окончательно уступать времени.

— Смотри… — сказала Саша, замедляя шаг.

Чуть дальше стоял дом для рабочих. Он выглядел аккуратнее: серые стены были подновлены, крыша целая, окна ровными рядами смотрели на дорогу. У входа висела знакомая табличка с надписью «Гісторыка-культурная каштоўнасць», а ниже значилось: «Флігель». Далее виднелось еще одно здание из красного кирпича, некогда пивоварня. Массивная, с темной крышей, она казалась самой основательной из всех построек.

Здесь чувствовался настоящий служебный двор, место, где когда-то кипела работа, где хра-

нили запасы и обслуживали хозяйство.

Саша остановилась и огляделась.

— Вот тут…

Она забрала у Димы мешок, достала из него платье и уложила на подстриженную траву между двумя каштанами, росшими на возвышении у озера. Лебеди, будто заинтересовавшись ее действиями, подплыли к самому берегу.

Рядом с платьем Саша кинула три рублевые монеты. Металлические кружочки звякнули о землю, и эхо ушло в корни. Девушка плеснула на них водой из фляги — родниковой, с вечера настоянной на плакун-траве — и пробормотала:

— Скарбник-земляник, что взяла рука моя — обратно в твою глубину бежит. Не мой это клад, не моя доля. Что надо мне — трудом добуду, а не твоим пламенем.

Откуда ни возьмись на ясном небе появились тучи. Серые, тяжелые. Они затянули солнце, и сразу стало сыро и неуютно. Где-то вдалеке грянул гром, девушка оглянулась на звук, а когда повернула голову, прямо между каштанов стоял скарбник. На этот раз без фонаря и кирки.

— Шо, дошло наконец? — хмыкнул он, впрочем, без злобы. — Не зря твердил, что чужое брать…

— Негоже, — автоматом завершила Саша,

удивляясь, что и тело, и голос полностью принадлежат ей.

— То-то же.

Саше захотелось стукнуть старика, наорать на него за то, что изводил ее. И ведь ей это платье и даром не было нужно. Но так же быстро, как закипел в душе гнев, девушку накрыло легкостью и покоем.

Скарбник удовлетворенно кивнул.

— Ну, бывай, — махнул он и исчез, а следом пропало и платье с монетами.

О реальности произошедшего свидетельствовала лишь влажная от воды земля и примятая трава.

Шокированный Дима стоял поодаль. Скарбника он не видел, только почувствовал неожиданную сырость, услышал, как невеста сказала: *«негоже»*, а после платье пропало, словно и не было его.

IV

Утро в деревне началось с запаха выпечки: свежеиспеченный хлеб, каравай, сытные и сладкие пироги и расстегаи, над которыми всю ночь трудились Лидия Ивановна с сестрой и матерью.

Соседи помогали расставлять столы на дворе под яблонями. Дети босиком носились по еще

влажной от росы траве, то и дело норовя врезаться во взрослых. Сандалии с носками сняли сразу: вымажешь — мамка заругает.

Руководила организацией тетя Димы. То и дело по участку разлетался ее зычный голос: *«Куды понес? Сюды ставь!..»*, *«Петька, не носись, с ног собьешь»*, *«Лёня, бери Петьку, и сходите к соседям за табуретами»*.

Самой хозяйки, как и молодых, пока не было.

Саша захотела провести ночь в родительском доме в Фаниполе. Там же решили и расписаться в узком кругу, поэтому с утра жених с братом и матерью отправились за невестой.

Белый просторный зал Фанипольского загса с большими золотыми кольцами на стойке регистрации, добродушная регистраторша в голубом платье с цветком на груди, с перламутровой помадой и начесом, «*Сегодня ваша лодка любви отправляется в плавание…*» — все это выглядело хотя и слегка старомодным, но трогательным и уютным.

Гостей было немного: родители Саши, ее лучшая подруга, по совместительству фотограф, Димина мать и брат.

Саша стояла в коротком молочном платье, купленном накануне в магазине местного бренда.

Простой силуэт и фактурное кружево на хлопковом подкладе подчеркивали безыскусную юность невесты. Волнистые каштановые волосы украшал венок из эвкалипта и мелких белых цветочков, заботливо собранный свекровью. Букет из домашних цветов для невестки тоже собрала она.

Сама Лидия Ивановна выглядела мягче, округлее, чем несколько месяцев назад, остроту черт лица сглаживала искренняя улыбка.

* * *

К приезду молодых двор был увешан гирляндами из маленьких лампочек, мягким теплым светом мерцавших между деревьями. Составленные длинной полосой столы украшали букеты полевых цветов. На фоне играл лаунж.

С минуты на минуту ожидали тех самых музыкантов, которые играли в день, когда познакомились молодые.

Дима поправил ворот льняной рубахи и наклонился к невесте:

— Все-таки у нас получилось сделать по-своему.

Та в ответ лишь улыбнулась.

Гости смеялись, поднимали тосты за здоровье

и счастливую семейную жизнь, обменивались рецептами, вспоминали детство молодых.

То и дело кто-то порывался крикнуть «горько», но бойкая Сашина подруга тут же пресекала эти попытки. Камеру она уже отложила, хотя иногда ловила удачные кадры на телефон, и наслаждалась праздником в качестве гостьи.

После первого танца молодых к Саше подошла Лидия Ивановна, в руках у нее был кусочек еще теплого яблочного пирога.

«И когда успела?» — удивилась Саша.

— Это, конечно, не яблоневый цвет… — виновато прошептала свекровь. Саша не дала ей завершить фразу и порывисто обняла.

Праздник шел своим чередом, когда один из гостей громко заметил:

— А невесту-то украли!

Гости засмеялись, кто-то хлопнул в ладоши, дети с визгом бросились искать Сашу между яблонями и сараями.

Дима только покачал головой:

— Ну начинается…

Вроде просили без традиций, а вот тебе — выкупай невесту, Димочка: шутками, танцами или монетами.

Но никто из гостей действительно Сашу не

видел.

Она стояла у старого колодца за огородом, там, где начиналась тропинка к полю. Сама не понимала, как тут оказалась: хотела просто выйти перевести дух.

Вдруг рядом кто-то тихо кашлянул:

— Кхм…

Саша обернулась. У колодца стоял скарбник.

Это был все тот же коренастый старик в добротной, не по погоде теплой коричневой куртке, со все теми же хитрыми изумрудными глазами, но без давящей тяжести, которая раньше окружала его.

— Опять вы? — простонала Саша и машинально почесала украшенное тонким серебряным браслетом запястье.

Старик почесал затылок.

— Да я… это… мимо шел.

Скарбник помялся и вытащил из-за пазухи небольшой сверток, аккуратно перевязанный бечевкой.

— Вот… — буркнул он. — На свадьбу.

Саша удивленно подняла брови:

— Подарок?

— Ну, а что… — Он пожал плечами.

Она осторожно развязала сверток.

Внутри лежала маленькая серебряная монета, старая, потемневшая от времени, и тонкое кольцо, сплетенное из трех металлических нитей.

— Это что? — тихо спросила Саша.

Скарбник пожал плечами:

— Не чужое. Не бойся. Чтоб в доме достаток был. Но честный. Такой… — он беззвучно пошевелил губами, подбирая слово, — заслуженный.

Они стояли молча и наблюдали, как над деревней медленно разливается малиновый закат.

Со стороны двора донесся детский крик:

— Нашли! Невеста там!

Скарбник фыркнул.

— Ну все. Иди. А то жених твой еще решит, что я тебя и вправду украл. Еще опять плакун-травой зальют… — с напускной обидой прокряхтел он.

Саша почувствовала, как внутри поднимается благодарность.

— Спасибо!

Старик махнул рукой.

— Да ладно.

Он уже начал растворяться в воздухе, как тень в солнечном свете, когда вдруг добавил:

— И ты это… если что… — но договорить не успел.

Саша оглянулась, но между яблонями уже ни-

кого не было. Только ветер тихо качнул траву у старого колодца.

Саша спрятала кольцо и монету в ладонь и побежала обратно к дому. Музыканты как раз готовились исполнять новую мелодию.

В секундной тишине ей показалось, что где-то за огородом звякнула о камень кирка. Будто кто-то, довольный, вернулся к своей работе.

Аметисса Грэсс. О верных крысах и коварных героях



Аметисса Грэсс

О верных крысах и коварных героях

Есть в белорусской мифологии король петухов, что зовется Будимиром, король мышей по имени Поднор и король котов – Варгин. Образ Варгина был в деталях выведен писателем Яном Борщевским в знаменитом сборнике «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах».

Осень в тот год пришла в Сличи раньше срока.

С утра над городом висел ровный сизый дым, пахло мокрым деревом, прелой листвой и печной глиной. На торгу крик стоял еще бойкий, но к полудню лавки пустели, люди плотнее запахивали жупаны и чаще оглядывались на небо. Случалась в этих краях пора, когда каждая тварь искала угол потеплее: человек — у печи, пес — в соломе, а нежить — поближе к человеческому дыханию.

Канцлер Рогволод возвращался в усадьбу под вечер. Дорога шла мимо часовни с потемневшим крестом, мимо мокрых ольшаников и заброшенного гумна, где по весне находили странные следы — то ли детских босых ног, то ли лап крупной птицы. Лошади брели ровно, кучер клевал носом, а сам канцлер сидел неподвижно, завернувшись в темный плащ, и смотрел сквозь стекло

на серый свет. День выдался долгий, утомительный, с тяжбами, счетами, просьбами, жалобами и двумя письмами от людей, которых он ценил меньше, чем собственную подагру.

На повороте к старой дороге он велел остановиться. У самой часовни на плоском камне сидел кот. Черный, крупный, с тяжелой лоснящейся шерстью и глазами такого цвета, какой бывает у углей в кузнечном горне, когда на них перестают дуть мехами. Кот не суетился, не выгибал спину, не показывал зубов, а просто сидел и смотрел на карету так, будто ждал именно ее и этого человека.

— Гони его, — велел Рогволод кучеру.

Кучер шевельнулся, взял кнут, но с козел не слез. По лицу его прошла быстрая некрасивая судорога, и рука опустилась сама собой. Он промямлил что-то про дурной час, про часовню, про зверя с нехорошими глазами, после чего уставился в лошадиную гриву и замолчал. Рогволод досадливо фыркнул, распахнул дверцу и сам вышел на дорогу.

Сырой ветер трепал полы плаща, в канаве рядом с дорогой собиралась темная вода. Кот сидел по-прежнему, только хвост один раз лениво двинулся по камню. Когда канцлер подошел ближе,

зверь поднял голову, и в этот миг Рогволод ощутил странное облегчение: будто день со всеми его бумагами, просьбами и чужими голосами остался позади, а впереди нашлось нечто простое и ясное. Он протянул руку, ожидая, что кот отпрянет или цапнет. Кот встал, лениво толкнулся в подставленную ладонь. Боком мазнул по ногам и мягко ступил на каретную подножку. В карете он свернулся возле подушки и всю дорогу тихонько урчал.

В усадьбе о находке заговорили сразу. Сестра канцлера, Милослава, встретила брата на крыльце с подсвечником в руке и недовольством на лице. Она управляла домом твердой рукой, привычно бранила слуг, считала запасы, следила за вином, бельем, свечами и нравом своего брата. Когда кот вышел из кареты и неторопливо прошел мимо ее юбки, Милослава инстинктивно подобрала подол.

— Откуда эта тварь? — спросила она.

— С дороги, — ответил Рогволод, снимая перчатки. — Будет жить здесь.

— Вижу, что не на конюшне.

— Назову его Варагом. Имя ему подходит.

Милослава проводила кота долгим взглядом. Вараг между тем уже осматривал сени, словно

знал дом не хуже старого ключника. У печи он задержался, у лестницы остановился, обнюхал край ковра, потом прыжком взлетел на подоконник и уселся там с видом хозяина, которому наскучили чужие порядки. Слуги, собравшиеся на шум, переглянулись; кухарка плюнула через левое плечо; а Рогволод вдруг улыбнулся той редкой, почти юношеской улыбкой, которую Милослава не видела на его лице с тех пор, как похоронили их мать.

Первые дни кот вел себя чинно. Он не рвал занавеси, не таскал мясо со стола, не гадил в углах и даже мышей не трогал, чем сразу навлек подозрение дворовой челяди. Днем Вараг лежал у огня, вечером переходил в кабинет канцлера, ночью обследовал дом: он появлялся то в библиотеке, то на лестнице в перекрытом крыле, у спальни слуг, то в закрытой кладовой, куда никто его не впускал. Стоило кому-нибудь отвернуться — и кот уже сидел в другом конце комнаты, уставившись на человека немигающим терпеливым взглядом.

Рогволод привязался к нему быстро. После ужина он стал дольше сидеть в кресле у камина, читать вполглаза и гладить мягкую черную шерсть. Вараг умел выбирать минуту: являлся тогда, когда в голове у канцлера гудели счета, су-

дебные распри, тайные письма и мелочная возня шляхты, требовавшей для себя все и сразу. Кот запрыгивал на подлокотник, тяжело устраивался рядом и начинал урчать. От этого звука в груди разливалось теплое оцепенение, а мысли теряли острые углы.

Через неделю Милослава впервые заметила, что брат изменился. За обедом он вдруг вспылил на писаря за неровно подрезанное перо, велел выгнать из залы музыканта за фальшивую ноту и дважды сорвался на старом слуге, который служил еще их отцу и потому считался в доме почти мебелью, но мебелью уважаемой. Вечером канцлер долго ходил по галерее и говорил сам с собой, жестикулируя так, будто спорил с невидимым собеседником. Ночью Милослава слышала из-за стены его голос, а потом низкое, густое мурлыканье, от которого почему-то холодело между лопаток.

Кот тоже изменился. Теперь он кружил не только вокруг канцлера. Подойдет к кухарке — и та через час разбивает миску о стену и орет на девок. Посидит у конюха — и тот вечером хватается за нож из-за гнилой шутки. Полежит у ног старого писаря — и писарь среди бела дня начинает шептать, будто в книге под строчками

бегают черные хвосты. Сначала такие случаи принимали за дурной нрав, усталость, пьянство. Потом пошел слух: дескать, кот всему виной. Не питомца, а страшного зверя привел хозяин в дом! Нечистый дух ходил по двору и забирался в их спальни. Дворовые стали сторониться Варага, как сторонятся глубокой воды, в которой уже кто-то утонул.

Сам же Рогволод тянулся к коту все сильнее. Он перестал ездить в город без нужды, реже принимал гостей, чаще запирался в кабинете и подолгу сидел в кресле, положив руку на черную спину зверя. Милослава однажды вошла без стука и застала брата за странным занятием: канцлер, человек рассудочный, властный и резкий, разговаривал с котом тоном доверительным, почти исповедальным. Он рассказывал ему о людях, которых презирал, о союзниках, которых терпел, о скуке, отравлявшей всякий пир, о власти, от которой пальцы пахнут воском, чернилами и чужой ложью. Кот слушал, не отводя глаз, и урчал так глубоко, что звук шел будто не из горла, а прямо от пола.

— Убери его, — сказала Милослава, когда брат остался один.

Рогволод даже не сразу понял, о ком речь. Он

сидел за столом, сжимая виски, под глазами легли темные тени, лицо вытянулось и стало суше.

— Ты с ума сошла? — ответил он. — Это всего лишь кот.

— Кот не ходит через запертую дверь. Кот не сидит в пустом кабинете, когда все окна и двери закрыты. Кот не заставляет слуг смотреть в углы и креститься на огонь.

— Людям лишь бы болтать.

— Я вижу тебя, Рогволод. Этого достаточно.

Он поднял на нее взгляд. Милослава отшатнулась. Не от злости — ее она знала и раньше. В глазах брата появилась тяжелая, вязкая тьма, и где-то под ней жило раздражение человека, которому мешают.

— Оставь меня, — тихо произнес канцлер. — И не смей трогать Варага.

После этого разговора дела пошли под уклон быстрее. Канцлер стал мало есть, от вина его мутило, сон приходил ненадолго и приносил такую дрожь, что к утру рубаха прилипала к спине. Он начал путать имена, забывать о назначенных встречах, а среди ночи мог вскочить, потребовать свечей, бумаг и три часа кряду писать распоряжения, одно нелепее другого. Один приказ отправлял людей чинить мост, который

уже починили месяц назад. Другой требовал пересчитать монастырских гусей. Третий велел выгнать с рынка всех рыжих собак, потому что они, по словам канцлера, «подслушивают». Утром он смотрел на бумаги и ничего не помнил.

Но хуже всего случилось на двенадцатую ночь. В ту ночь Милослава проснулась от тяжелого топота в коридоре. Когда она выбежала со свечой, Рогволод уже стоял у дверей подклети, босой, в ночной рубахе, с обнаженным кинжалом в руке. Лицо его было мокрым, как после бани, а глаза смотрели мимо всего живого. На плече у него сидел Вараг и тихо урчал, прижимая уши.

— Кого ты ищешь? — спросила Милослава, чувствуя, как от страха стынут ладони.

— Пчел, — ответил канцлер. — Их тут рой. Они забились в колыбель. Слышишь?

Никаких пчел не было. В детской спал сын ключника, которого Милослава временно взяла к себе после смерти кормилицы. Мальчик заворочался во сне, а Рогволод сделал шаг к колыбели. Милослава бросилась на брата сзади, вцепилась в запястье, закричала. На крик сбежались слуги. Вараг спрыгнул с плеча, метнулся под лавку и там исчез. Кинжал выбили из руки канцлера только втроем. Когда же Рогволод пришел в себя,

он долго сидел на полу и глядел на свои пальцы так, будто видел их впервые.

Утром он велел запереть кабинет и потребовал вина. Выпил кубок, второй, третий, а потом попросил позвать сестру. Милослава вошла настороженно. Она ждала брани, угроз или новой вспышки злости. Но брат сидел тихо, изможденный, постаревший сразу на несколько лет.

— Ты посылала за колдуном? — спросил он.

— Посылала.

— Правильно. Вчера ночью я хотел зарезать ребенка.

Милослава побледнела, однако промолчала.

— Я люблю этого зверя, — глухо проговорил канцлер. — Люблю так, как старик любит поздний покой. Когда он рядом, в голове делается тихо. Когда его нет, в висках ходит дрянь, а мысли грызут меня изнутри. Но этой ночью… — Он облизнул пересохшие губы. — Этой ночью я уже не знал, где моя рука и чья то была воля.

Вот тогда Милослава впервые увидела не только дурман, но и страх.

Слуги начали шептаться о порче. Милослава велела им молчать, сама же втайне послала гонца за Гремиславом. Имя это в Сличи знали. О колдуне рассказывали многое: будто он уме-

ет вытаскивать хворь из костей, видит через сон чужой умысел, одной щепотью трав может успокоить упыря, а другой — заставить пана подписать дарственную на полдеревни. Люди любили такие россказни.

Гремислав прибыл в усадьбу под вечер, в длинном темном кафтане, с дорожной сумой, посохом и лицом человека, который знает цену чужому отчаянию. Он был высок, сух, с редкой бородой и ловкими нервными пальцами. Его глаза улыбались раньше губ, а губы улыбались ровно настолько, чтобы внушить доверие и не выдать жадности. Милослава встретила его в зале и, пока слуги снимали с него плащ, успела почувствовать тот особый озноб, какой берет человека рядом с хорьком: зверек маленький, с виду даже забавный, но из пасти у него пахнет кровью.

— В доме нечисть, — сказала она без предисловий.

— В богатых домах она любит селиться, — отозвался Гремислав и оглядел просторную комнату, задержавшись на потолочных балках да коврах на стенах. — Тут ей и тепло, и сытно, и человеческой глупости с избытком.

Он прошел по дому медленно, с видом мастера, приехавшего оценить крышу перед починкой.

Заглянул в кабинет, в библиотеку, в спальню канцлера, в кладовую. Задержался у лестницы, коснулся ногтем глубокой трещины на стене, понюхал воздух возле печи. Вараг следовал за ним по пятам, а потом обогнал и сел на столе в кабинете, точно занял место для встречи. Когда колдун вошел в комнату и увидел кота, его рот тронуло едва заметное удовлетворение.

— Давно тебя не было видно, — тихо сказал он.

Милослава стояла у двери и потому не расслышала бы этих слов, даже если бы колдун произнес их громче. Зато Рогволод, сидевший в кресле у окна, услышал и медленно поднял голову. Лицо его дернулось.

— Вы знаете этого кота? — спросил канцлер.

Гремислав повернулся к нему с отточенным выражением сочувствия, усталой учености и осторожной серьезности.

— Это не кот, пан канцлер. Это Варгин. Царь кошачьей нечисти. Он приходит в дом по приглашению, забирается в душу через жалость, привязанность и гордыню, а потом разводит там злых тварей. У одного будут осы в голове, у другого бабочки, у третьего — черные мысли, от которых человек сам себе хуже врага.

Милослава побледнела. Рогволод же смотрел

на колдуна так, словно каждое слово причиняло ему боль и приносило тайное облегчение. Вараг спрыгнул со стола, обошел кресло канцлера и сел у его ноги, прижав хвост к полу.

— Что значит ваше слово? Быть может, вы в сговоре с моей сестрицей желаете лишить меня последнего утешения!

Улыбка канцлера была кривой, угол рта уполз вниз и некрасиво обнажил провалы на месте пяти зубов.

Кот вытянул лапу и провел когтями по основанию посоха. Колдун погрозил ему пальцем. Переложил посох в другую руку — так, на всякий случай.

— Да что ж ты несешь такое! — Милослава бросилась вперед, но стоило только колдуну стукнуть посохом об пол, как она застыла. Незримая стена не пускала деву за порог, как бы та не билась.

Рогволод побледнел.

— А стоило ли?..

— Пани на голову дурно вашу влияет, не лучше ль нам самим решить ваш вопрос? — Гремислав пододвинул к себе табурет и, кряхтя и вздыхая, устроился на нем, раскорячив длинные ноги.

Канцлер хмыкнул. Вараг-Варгин заворчал и

перебрался к хозяину на колени. Легкая судорога пробежала по лицу Рогволода, и мужчина расслабился, точно прошла продолжительно мучившая его боль.

— Покамест вы единственная причина моих переживаний, — впрочем, голос Рогволода звучал в разы расслабленней, чем до этого. Кот тем временем встал на задние лапы, передними опер-ся на спинку кресла и принялся смачно тереться о поседевший висок.

Рогволод не верил Гремиславу. Он верил собственным рукам, застывшим над колыбелью. Верил запаху пота на своем теле и тому пустому провалу памяти, из которого возвращался медленно и неохотно. Верил тому, что утешение, приносимое котом, стало ему так дорого, что он готов был отдать за него что угодно.

— Вы можете избавить меня от него? — спросил Рогволод.

Кот зашипел, прижал уши к голове. Шипение это походило больше на змеиное.

— Могу, — ответил Гремислав и сделал паузу — ровно такую, какая нужна, чтобы надежда успела подняться и повиснуть. — Но это дело трудное. Сильная нечисть сидит глубоко. Тут потребуются редкие травы, черный янтарь, кровь курицы,

серебряные иглы, три ночи работы и обет молчания. Цена будет высокой.

Он назвал сумму. Даже Милослава, знавшая состояние брата до последней меры зерна, с трудом удержала лицо. Гремислав заметил это и чуть развел руками, будто стыдился собственной суровой необходимости.

— За меньшие деньги я бы, пожалуй, занялся ячменем на веке или бородавками у мельничихи, — сказал он. — Но здесь вам повезло наткнуться на такую тварь, за встречу с которой опытный человек берет втрое больше.

Рогволод усмехнулся сухими губами.

— Значит, удача моя при мне.

— В известном смысле, — согласился колдун.

Ритуал назначили на следующую ночь. Гремислав велел вынести из кабинета все зеркала, убрать иконы, никому не входить до рассвета и приготовить черную курицу, четыре свечи из похоронного воска, кувшин колодезной воды и миску свежего молока. Милослава слушала и запоминала, а в голове у нее одна мысль цеплялась за другую, как репей за сукно. Что-то в повадках колдуна резало глаз. Он слишком свободно держался рядом с Варагом. Слишком уверенно ходил по дому, еще до обряда зная, где искать кота. И

слишком уж ловко назвал цену, будто подсчитал сумму еще в дороге.

Той же ночью, пока дом спал, на втором этаже заскрипели половицы. Дождь барабанил по стеклам. Под дверью кабинета лежала полоска света, узкая, желтая. За дверью говорили.

Говорил Гремислав.

Сперва можно было решить, что он шепчет заговор. Но шепот шел ровный, злой и человеческий.

— Ты размяк, — произнес он. — Я тебя вожу по домам не первый год, а ты ведешь себя, будто дворовая мурка. Раньше ты работал чище. Садился на сердце, тянул сок, доводил хозяина до осиного гула — и все шло как надо. Я приходил, забирал плату, а ты сидел в мешке тихо. Потом новый двор, новая милость, новое золото. Все были довольны.

Ответом стало низкое клокочущее рычание.

— Не строй из себя царя, — сухо продолжил колдун. — Царя я однажды уже поймал. Помнишь мешок из конской кожи? Помнишь серебряный обруч? Помнишь, как ты три зимы просидел у меня под полом и жрал помои, пока не научился слушаться? Я тебя вытащил из болота, когда тебя гнали деревенские колдуны. Я дал тебе дома, лю-

дей, жирный страх. Без меня ты бы давно сидел под старой осиной и выл на грозу.

Ты брал больше, чем договаривались.

Гремислав тихо засмеялся.

— А ты стал считать? Вот уж не думал. Твое дело забраться так, чтобы хозяин не смог дышать без твоей шерсти под рукой. Мое — стричь его потом до исподнего. Так было. Так будет.

Этот дом мой.

— Это дом богатого дурака. Ты его уже почти выпил досуха. Еще день-два — и он сам отдал бы мне половину казны за горсть пепла и три слова над чашей. А ты вдруг надумал лежать у него на коленях и слушать, как он жалуется на жизнь. Совсем одичал.

В наступившей тишине послышался очень тихий звук. Будто когти медленно провели по дереву.

— Смотри у меня, — сказал Гремислав уже другим тоном. — Завтра не упирайся, мы и так провозились с ним слишком долго.

Весь следующий день колдун вдоволь пользовался чужим гостеприимством и любезностью. Отпарился в баньке до красноты, наелся зраз и горячей картофельной бабки.

Дворовые кружили вокруг, потчуя его пиро-

гами и парным молоком. Колдун был гостем долгожданным и желанным. Каждый служащий канцлера считал за честь помочь Гремиславу. Ох, как люди ждали избавления от напастей!

Ночь пришла сырая и ветреная. По стеклам полз дождь, в саду скрипели яблони, а в длинных коридорах усадьбы шаги отзывались раньше, чем человек переставлял ногу. Гремислав заперся с канцлером в кабинете. Милослава сначала подчинилась, удалившись в свои покои, но потом отправила слуг по местам, а сама осталась за дверью в смежной библиотеке. Она взяла свечу, кинжал покойного отца и села в кресло, решив, что может сделать более, чем позволено, и сделает это без всякого стыда.

За дверью сперва звучали обычные приготовления: стук посуды, шорох ткани, плеск воды, глухое бормотание. Потом стало тише. Потом раздался голос Гремислава — ровный, вязкий, убаюкивающий.

— Смотрите на огонь, пан канцлер. Ни на что больше. Пусть зверь подойдет. Пусть сядет рядом. Не гоните его. Пусть ляжет к вам ближе. Он привык, что вы ему верите. Сегодня это пойдет нам на пользу.

Рогволод хотел ответить, но голос сорвался на

хрип. Милослава подалась вперед, прижала ухо к щели между створкой и косяком. Свеча в ее руке дрожала. Из комнаты донеслось глухое мурлыканье, потом шорох ткани, потом звук, похожий на быстрый удар. Следом раздался короткий яростный кошачий вой.

Милослава рванулась к двери. На этот раз незримая стена держала крепко. Она только видела сквозь щель, как Гремислав, наклонившись, придавил что-то к полу серебряной дугой, похожей на охотничий капкан, но тоньше и длиннее. Рядом валялся разодранный мешок из темной кожи. Варгин бился внутри начерченного круга. Шерсть на боку у него слиплась. На полу чернели капли крови.

— Вот так, — выдохнул колдун. — Вот так ты мне нравишься больше.

Рогволод вскочил.

— Что вы делаете?!

— Спасаю вас, пан канцлер. Сидите.

— Вы режете его!

— А как вы думали? Нечисть словами не уговаривают.

Кот взревел снова, уже глуше. Рогволод рванулся вперед, и Гремислав ударил его посохом в грудь. Канцлер отшатнулся, врезался в кресло,

опрокинул его и на мгновение задохнулся. Милослава за дверью стиснула зубы так, что в голове зазвенело.

— Сиди спокойно, — сказал Гремислав уже коту. — Скоро ты получишь, что тебе причитается.

Ответа вслух не последовало. Это была пауза между палачом и жертвой. И в следующую секунду Рогволод, должно быть, услышал то же самое, потому что за дверью скрипнуло кресло, и канцлер хрипло выдохнул:

— Что… ты сказал?

Колдун уже не притворялся. Из его голоса исчезла учтивость, исчезла лекарская важность, исчезло почти все человеческое.

— Ты слишком дорого мне обошелся, пан канцлер. Пришлось везти зверя издалека, ждать подходящего часа, подсаживать его тебе на дорогу, а потом еще дать ему укорениться. Богатые люди всегда хотят чуда с доставкой на дом.

— Ты привел его? — выдавил Рогволод.

— Конечно. Кому же еще? Мелкий пан от страха разоряется на полкурицы и бутылку медовухи. Настоящие деньги живут там, где герб над воротами и серебро в счетных ларцах. Варгин входит, гладит гордыню против шерсти, потом я прихожу и за хорошую цену вытаскиваю из человека то,

что он сам в себе раздул. Работа тонкая, грязная, зато прибыльная.

— А он?

— Он? — Гремислав коротко хохотнул. — Он делает то, чему его научили. Ел из моих рук, сидел в моем мешке, ходил за моей тенью. До нынешней осени слушался исправно. А тут решил, что может сам выбирать, у чьих ног лежать.

С пола донесся глухой удар. Затем — еще один. Потом серебряная дуга звякнула так, словно по ней дали молотом.

Милослава отпрянула от двери. Кровь бросилась ей в лицо так резко, что в глазах потемнело. Она уже подняла кинжал, уже собиралась ворваться в кабинет, когда из-под пола в библиотеке донесся тонкий шорох. Потом еще один. Потом третий. Она опустила свечу ниже и увидела у плинтуса первую крысу.

Крыса была крупная, с мокрым носом и умными черными глазами. Она вылезла из щели, остановилась, приподнялась на задних лапах и шевельнула усами, будто прислушивалась к разговору за стеной. За ней показалась вторая, третья, потом целая вереница. Крысы текли из подпола, из кладовой, из-под лестницы, из кухонного хода, и двигались они не суматошно, не

вразнобой, а плотным деловитым строем.

Милослава знала, что в старых домах крысы живут всегда. С ними воюют, их травят, топят, бьют палками, но они все равно возвращаются. Однако то, что происходило сейчас, уже не имело отношения к обычной крысиной жизни. Зверьки двигались к кабинету. Их тянуло туда, где лилась кровь хозяина дома и кровь зверя, которого этот дом уже успел признать своим.

За дверью Рогволод заговорил снова. Голос его набирал силу, злость вытесняла дурман.

— Ты травил меня. Ты развращал мой дом. Ты хотел сделать меня посмешищем и должником. Ты сводил меня в могилу!

— В могилу? — усмехнулся Гремислав. — Зачем мне мертвец? Мне нужен человек живой, ослабевший и благодарный. После такого исцеления иной пан сам просит меня составить ему завещание, амулет, любовное зелье, проклятие на соседа или порчу на наследника. Один страх рождает десять заказов. Вот где настоящее ремесло. Впрочем, уже поздно. Ты одной ногой на смертном одре. Благодари свою заразу, старый дурак!

В этот миг в кабинет ударило изнутри что-то тяжелое. Милослава отшатнулась. Дверь распахнулась сама, с таким треском, будто ее с той

стороны боднул бык. Она увидела Рогволода у стола, бледного, растрепанного, с дико горящими глазами. Увидела на полу разорванный серебряный обруч и Варага… Варгина — уже не лежащего, а вставшего во весь свой звериный, демонический рост. Кот был огромен, словно медведь. Шерсть на нем стояла дыбом, с бока капала кровь, а в огненных глазах больше не было ласковой дремоты домашнего котика.

А потом в кабинет хлынули крысы.

Они текли по полу, по порогу, по ковру, взбегали на сундук, на кресло, на дровницу, на табурет у стены. Их было столько, что пол зашевелился серым, бурым и черным мехом. Гремислав вскрикнул, отшатнулся и взмахнул рукой, выкрикивая слова, от которых загудело свечное пламя. Несколько крыс отлетели, будто ударились о невидимую стену, но остальные рванули вперед с удвоенной яростью.

Варгин запрыгнул на стол, со стола — на шкаф, оттуда — прямо на плечи колдуну. Удар вышел таким сильным, что Гремислав врезался затылком в оконную раму. Посох выпал у него из рук. Варгин вцепился в него всеми четырьмя лапами и ударил мордой в щеку. Кошачье урчание теперь походило на глухой рев кузнечных мехов, а из

пасти шел горячий, железный запах крови.

Рогволод смотрел на это, тяжело дыша, сжимая пальцами край стола так сильно, что побелели костяшки. И в этот миг между человеком и зверем возникло понимание. Варгин пришел в дом не сам. Его натравили на привычную добычу — гордого, богатого, уставшего человека, который давно мечтал, чтобы кто-нибудь хотя бы раз выслушал его без лжи и раболепия. Варгин делал то, что умел: входил в душу, раздвигал в ней щели, ласкал слабое место, питался смутой и злобой. Но над всем этим стоял другой хищник — человек, превративший нечисть в вещь.

Гремислав шагнул к двери, видно, решив бежать. Крысы уже окружили его сапоги. Он ударил посохом вниз, и две твари отлетели к печи. Следом он схватил горсть пепла, швырнул в воздух, и пепел превратился в темное облако, напоминавшее стаю летучих мышей. Милослава рванулась вперед, но Рогволод выбросил руку, отстраняя ее. Крысы кинулись на колдуна почти одновременно. Они висли на полах кафтана, впивались в сапоги, лезли под одежду. Варгин вцепился ему в горло. Гремислав закричал, голос его надломился, посох выпал из руки. Он рухнул на колено, потом на оба, отбиваясь из последних сил.

Когда все кончилось, колдун лежал у стены, дрожа, хрипя и бормоча вперемешку проклятия, мольбы и обрывки заклинаний. Его лицо осунулось еще сильнее, из губы текла кровь, дорогой кафтан превратился в грязные лохмотья. На властного и страшного человека, каким был при входе в дом, он больше не походил. Перед ними валялся голый, жалкий стяжатель, которого сожрало собственное ремесло.

Варгин сидел посреди комнаты, вылизывая окровавленный бок. Крысы уже не бросались, а лишь стояли полукругом, словно дворцовая стража в серых шубках. Рогволод медленно опустился в кресло. Голова у него шла кругом, в висках гудело, под ребрами стучало так, что каждый удар отдавался в зубах. Милослава схватила со стола кувшин и плеснула водой в лицо колдуну. Тот завизжал, как от кипятка, хотя вода была колодезная, холодная и чистая.

— Уберите его, — сказал Рогволод. Голос у него сел, но в нем снова появилась твердая нота. — Свяжите. Заприте в подклете. Утром решу, кому его передать.

Слуги, до сих пор жавшиеся в конце коридора, вошли с веревками и палками. На Варага они косились, на крыс смотрели с ужасом, а к Греми-

славу подошли уже с тем видом, какой бывает у людей, вынесших из беды простую, удобную мысль: пока бьют не тебя, нужно держаться за того, кто бьет сильнее. Колдуна увели. Крысы расступились перед слугами и вновь сомкнулись за ними живым ковром, но уже без вражды, просто по привычке к порядку.

В кабинете остались трое: Рогволод, Милослава и Вараг. За окнами скреб дождь. На столе догорала свеча, кидая длинные тени. Из угла тянуло пеплом, молоком и резким кошачьим запахом.

— Кто ты такой? — спросил Рогволод.

Кот повернул голову. В его глазах не было ни ласки, ни благодарности, ни раскаяния. Там светилась древняя гордость властителя, для которого человек бывает то подушкой, то слугой, то игрушкой, то добычей. Но теперь к этому прибавилось еще кое-что: упрямая звериная память о руке, которая не била.

— Он тебя чуть не сгубил, — прошептала Милослава.

— Он меня и спас, — устало ответил Рогволод. — А человек сгубил бы вернее.

Он поднялся с трудом, сделал два шага к коту и остановился. Вараг не отступил. Наоборот, мягко двинулся навстречу и потерся боком о

голень канцлера. От этого прикосновения по телу Рогволода прошла знакомая волна тепла. В ней таилась опасность, сладость, жалость к себе и желание снова отпустить поводья ума. Он почувствовал это ясно, почти осязаемо, и потому отступил первым.

— Хватит, — сказал он.

Варгин сел. Милослава едва дышала. Брат взял со стола миску, ту самую, что Гремислав требовал для ритуала, налил в нее молока и поставил на пол у двери.

— Вот тебе дорога, — произнес канцлер. — Ел мой хлеб, жил в моем доме, грел мои руки. За это выйдешь отсюда целым. Но больше сюда не возвращайся.

Кот взглянул на миску, потом на Рогволода. В комнате стало очень тихо. Даже дождь за окнами будто отступил. И тогда из-под пола снова показалась первая крыса. Она вылезла из щели, села между котом и порогом, шевельнула усами и уставилась на Варага с таким сосредоточенным, деловым видом, какой бывает у старшего приказчика, напоминающего гостю о часе отъезда.

За первой появилась вторая. Потом третья. Потом еще с десяток. Они не нападали, не пищали, не суетились. Просто садились полукругом

у порога, оставляя узкий проход к двери. Крысы Сличи знали свое дело. Дом держится на множестве незаметных верностей: на ключнике, который не крадет свечи, на сестре, которая не дает расползтись хозяйству, на собаке, что лает в нужный час, и даже на крысах, которые чуют, где в доме свой порядок, а где чужой умысел.

Вараг посмотрел на крыс, потом еще раз на канцлера. Лишь хвост один раз тихо ударил по полу. Кот повернулся, подошел к миске, лакнул молока, поднял голову и мягко выскользнул за дверь. В конце коридора мелькнула черная спина, потом два огня на миг вспыхнули в темноте и погасли.

Рогволод сел прямо на пол. Силы вышли из него разом, будто кто-то выдернул кол из плетня. Милослава опустилась рядом, положила ладонь ему на плечо и впервые за многие недели почувствовала, что под пальцами снова живой человек, а не сухой сноп злости и бессонницы.

Утром усадьба проснулась другой. Не праздничной, не веселой, а очищенной. Люди ходили осторожно, но уже без затравленного взгляда. Кухарка бранилась на подгоревшую кашу вполне обычным голосом. Конюхи ругались из-за сбруи. Старый писарь потребовал очки и свежих чер-

нил. В подполе шуршали крысы, и никто не велел травить их в тот день, а потом и еще во многие дни.

Гремислава отвезли в городскую башню. Он пробовал хитрить, сулил тайные знания, клады, снадобья, обещал сделать из воеводы посмешище, из соседского пана — покойника, из захудалой вдовы — красавицу. Его слушали мало. Слишком многие в округе вдруг вспомнили свои беды: чью-то внезапную хворь, чью-то странную порчу, чью-то скотину, пришедшую из леса с огненными глазами. Нить тянулась от двора к двору, от дома к дому, и на конце ее каждый раз обнаруживались либо следы Гремислава, либо слух о нем, либо его услужливый ученик с мешком трав и белозубой улыбкой.

Рогволод болел долго. Сон возвращался к нему медленно. Иногда по ночам ему чудилось мурлыканье за стеной, и тогда он садился в постели, слушал собственное сердце и ждал, пока тишина не станет обычной. Милослава держала дом крепко, а крысы продолжали жить под полом, в амбарах, в кладовых и за печами. Их не кормили с руки, не ласкали и не величали спасителями. Просто перестали видеть в них одну лишь пакость. Несколько раз Рогволод замечал, как у его

кресла садится крупная серая крыса, смотрит в камин и уходит. В этих визитах было что-то почти служебное, будто дом время от времени присылал ему весточку: порядок стоит, не спи.

К весне канцлер снова начал выезжать в город. Лицо у него осунулось, седины прибавилось, но взгляд стал трезвее прежнего. Он отменил часть старых поборов, выгнал трех льстецов, которым раньше давал место у стола, и впервые за много лет спросил у Милославы, сколько стоит новая крыша для сиротского приюта. Сестра на этот вопрос ответила не сразу. Она прежде посмотрела на брата и коротко кивнула, отмечая перемену.

Иногда, уже в оттепель, когда снег в канаве делался рыхлым, а на подоконниках выступала вода, Рогволод подходил к окну кабинета и смотрел туда, где за воротами начиналась дорога к старой часовне. Он вспоминал гибкую черную спину, огненные глаза и странное, страшное утешение, которое подарил ему Варгин. Человека сгубить проще всего через то, что он любит в себе тайно и бережет от чужого суда. Гремислав знал это и кормился этим. Но он забыл другую правду: даже нечисть долго терпит лишь до тех пор, пока ее держат страхом. Стоит зверю однажды выбрать не корм, а дом — и старый хозяин сам

становится добычей.

Так в Сличи и запомнили ту историю. Не о том, как герой спас богатого пана от демона. И не о том, как кот чуть не угробил канцлера. Люди говорили иначе. О коварстве героев и верности крыс. О том, что иной колдун страшнее упыря, иной спаситель прожорливее волка, а тварь, живущая под полом и ворующая зерно, иногда честнее человека в золотой цепи. И еще — о том, что в старом доме всякая верность на счету: собачья, сестрина, слугина, крысиная. Без них даже самый крепкий хозяин однажды проснется рядом с черным котом и не заметит, как начнет гладить собственную погибель.

Катерина Глинистая. Барматошка



Катерина Глинистая

Барматошка

Не то леший, не то домовой, а звать его доброхожим. Доброхожий – антропоморфный персонаж белорусской мифологии, покровительствующий лесным деревьям или избам, которые были построены из них. В ряде записей также упоминается как маленькое, похожее на домового, существо с длинной седой бородой.

Барматошка сидел на подоконнике мансардного этажа и смотрел, как по окну струятся ленивые ручейки дождя. Это было его самое любимое окно во всем доме: по низу оно было собрано из ровных квадратов разноцветного стекла, над которыми крепились две крупные рамы стекла обычного, прозрачного, а по верху снова шел ряд разноцветных кусочков. В погожие летние деньки Барматошка любил сидеть на шкафу и следить, как яркие цветные пятна света ползут по дощатому полу. Но сейчас, ранней весной, солнце если и дотянется до разноцветных стекляшек, то только к вечеру. К тому же день выдался неожиданно пасмурным.

Маленький доброхожий как зачарованный провожал глазами капли. Следить за ними было

интересно: то одна вперед выбьется, то другая. Он поначалу пытался выиграть сам у себя, выбирая пару капель и пытаясь угадать, которая из них первая добежит до подоконника. Но постоянно путался: капельки меняли направление, сливались, расплывались, так что вскоре он устал, встряхнулся и посмотрел на лес, что виднелся за крышами дачных домиков.

Старшие доброхожие ушли туда, в темные ели и сосны, еще с утра. Всякий знает: по весне в лесу просыпаются не только деревья и медведи с ежами. Как сходит снег, еще до того, как приедут первые люди, приходится подновлять границы, чтобы нечисть всякая из леса на дачный поселок не лезла.

День перевалил к вечеру, но пока не похоже было, чтобы кто-то вернулся.

В тишине пустого дома вдруг раздалось: «Кап!» Барматошка пошевелил ухом.

Кап!

Он повернулся в сторону звука и наклонил голову к плечу.

Кап!

Так и есть. Это на кухне. Такой звук делает вода, когда капает из рукомойника в стальную раковину.

Странно, люди слили всю воду в конце сезона, когда готовили старенький дом к зимовке. Чему там капать? Надо глянуть.

Барматошка спрыгнул с подоконника и засеменил к лестнице. Длинная одежка за зиму стала чуток узковата, что неудивительно — он ведь подрос. Надо бы подрезать, да жалко. Он лапами подтянул подол повыше и ускорился, на ходу посматривая по сторонам: вдруг какой кусок веревки валяется, тогда можно будет подпоясаться и лишнее подоткнуть.

Прошлой осенью он увидел эту рубаху среди кукольных нарядов младшей человеческой дочки и помог красивой цветастой вещице потеряться. Страшно понравилась ему полосатая рубаха ярких броских оттенков: тут тебе и такой цвет, как земляника на грядке, когда на нее падает солнечный луч, и как бархатцы у колодца, и как небо в жаркий безоблачный день, и как ежевика за сараем… В общем, этой зимой у Барматошки была отдельная радость: он чудесно проводил время, разглядывая цветные полоски и вспоминая лето.

Которое, кстати, было не за горами. А значит, дел у доброхожих полным-полно. Вот только надо старших дождаться — и можно, например, идти будить кротов. Барматошка любил, когда много

дел. И будить кротов любил. Кроты были теплые, пахли кореньями и свежим черноземом. Каждый доброхожий будит кротов по-особенному, и Барматошка всегда щекотал пяточки. Кроты смешно чихали и отряхивались. Вспомнив об этом, он хихикнул и вприпрыжку сбежал с лестницы.

На кухне в раковине, обняв себя за колени, сидела грустная кикимора. Капли падали не из рукомойника, а с ее мокрых, сбившихся в паклю волос. Кап! Кап! Кап!

Доброхожий нахмурился. Огляделся, заметил кусок пенькового шпагата, что забился под придверный коврик, вытянул его, подпоясался. С кикиморой разговор серьезный. Он подоткнул рубаху поудобнее и, приосанившись, спросил:

— Чего мокроту развела-то?

Кикимора вздрогнула и обернулась.

— А, Барматошка. Здорово.

— Я — Барматей, ты тут не фамильярничай! Чего объявилась-то?

— Ишь какой важный, — хмыкнула кикимора, задумчиво ковыряя в носу и не выказывая никакой почтительности. — Хоть бы поздоровался. Тоже мне, доброхожий. Кто вас вежливости учит? Никто? Во времена пошли… Старшой кто дома есть?

— Я тут старшой.

— Ага, конечно. Баюн из тебя никудышный, Барматоха. Зови старших. Новости есть, обсудить надо.

Доброхожий немного смешался.

— Так нет никого, Кика. Я тут один, старшие все в лес пошли.

Кикимора выпрямилась.

— Как в лес?

— Ногами, как обычно, — ответил немного оскорбленный ее снисходительностью Барматошка. — А как еще?

Кика была старой домашней кикиморой. В дачном домике она появлялась редко, предпочитала сарай, где человеческая хозяйка складывала веревки для подвязки растений, приспособления для огорода и тому подобные вещи. Домашние кикиморы падки на женские ремесла, а нынче такие времена, что не ткет никто и не прядет, знай себе в огородах копаются. Видеть ее в доме до приезда людей было странно. С другой стороны, она сама сказала — новости есть. Интересно, поделится ли с младшим доброхожим? Вот бы поделилась!

Кикимора потянулась, достала тонкие ноги из раковины и спрыгнула на пол. Вокруг тотчас

образовалась небольшая лужица.

— Ты какая-то совсем расстроенная, а, Кика? — решил попробовать счастья Барматошка. — Чего случилось-то?

Кика вздохнула:

— Что, правда ты один тут?

— Ну. — Барматошка кивнул и для пущей важности пошире расправил плечи.

Кикимора на его старания никакого внимания не обратила.

— Ладно, пойдем на крыльцо. В доме не хочу такое говорить.

— Чего это?

— А зачем дом пугать? Тебе это надо?

— Не надо.

— Не надо… — эхом повторила Кика и прошлепала к двери. — Идем на крылечко, маленький хозяин. Дело есть.

На крылечке было промозгло, все-таки начало весны. Снег почти сошел, но воздух был холодный и полный водяной взвеси. По козырьку над крыльцом, по выложенной плиткой дорожке, по металлическим подоконникам стучал дождь. Барматошка поежился, вспушил серую, с легкой рыжиной шерсть и забрался с ногами на лавку. Кика же, наоборот, вздохнула с облегчением,

опустила костлявые плечи, запрокинула голову и закрыла глаза. Еще сонная после зимы: чуть прохладней стало и сразу задремала. Доброхожий подумал, что сейчас она, как никогда, похожа на выпь в камышах. Только без камышей.

— Так чего ты там рассказать хотела-то? Сырость такая, давай скорей.

Кикимора встряхнулась, ущипнула себя за щеки.

— Беда, Барматошка.

— Чего еще?

— В лесу завелось что-то.

Она скрипнула зубами.

Барматошка нахохлился. Он леса остерегался. Все доброхожие остерегались леса. Так издавна повелось. Лес их — вон тот, что за домами, черные елки торчат — старый-престарый. Реликтовый, говорят. Чего там только не водится, особенно если подальше зайти. Там и болота есть, которые кишат Кикиными дальними свояками, и лешие бродят. Возможно, даже русалки на ветвях сидят. Но это вряд ли испугало бы кикимору.

— Ну, мало ли, — аккуратно прокомментировал он.

— Не мало ли, Барматоша. Говорят, лихо какое-то завелось.

— Меня Барматей зовут. А кто говорит?

Кикимора опять застыла, уставившись пустыми глазами куда-то вдаль, сквозь тонкие нити дождя.

— Кика!

— А? Что?

— Кто говорит?

— Чего?

Барматошка вздохнул, огляделся и сунул кикиморе в руки старый веник из лозовых прутьев. Летом человеческая хозяйка им крыльцо подметала от песка и листьев. Кикимора почувствовала в ладонях хозяйкин предмет, часто заморгала и глянула на доброхожего более осмысленно.

— Кто говорит? — повторил Барматошка.

— Лесавки говорят. Прошмыгнули две давеча в мой сарай. Поболтать, в сене поваляться. Вот и рассказали.

— Так а что за лихо-то? Одноглазое?

Он сразу решил высказать самое страшное, чтобы больше не бояться.

Кика вздохнула, нежно перебирая прутья веника.

— Хуже, Барматошка.

— Я — Барма…

— Кадук.

Барматей так и застыл с открытым ртом. Он и забыл. Забыл, что такие бывают.

— Да ну, Кика. Нет уже кадуков давно, ты что. Их уже лет двести никто не видел.

— А сейчас увидел. Лесавкам-то зачем врать?

— Может, обознались они?

Кикимора обняла веник и прижалась к нему щекой.

— Вот скажи мне, доброхожий, смог бы ты кадука с кем перепутать?

Барматошка задумался. Кадук. Большой, лохматый, с рубиновыми глазами, с пастью от уха до уха, полной острых, как шило, зубов. А когда пасть та открыта, то горит в ней пламя, как в печи осенним вечером. Только пламя то недоброе, не в пример печному. Всякого человека сожрет, сломает, изничтожит. Любого, кто в кадучий лес зайдет, ждет гибель неминуемая, запутает кадук все дороги, чтобы только к нему в пасть вели, закрутит любой разум так, чтобы дорогу домой забыл… Ох, дрова-поленья, а старшие-то в лесу!

— Кика! Старшие в лес пошли-то!

— А?

— Доброхожие все в лесу! Со всего поселка — там! И они ничего не знают про кадука!

До кикиморы понемногу начало доходить. Она

вытаращила глаза и прикрыла рот ладонью.

— Ой, Бартосик… Что ж это будет-то теперь!

Барматей спрыгнул с лавки и заметался туда-сюда по крыльцу. Лапы подмерзали на мокрых досках, но он так разнервничался, что был этому даже рад. Раз не получается решать с холодной головой, пусть хоть лапы будут холодные. Он мерил шагами крыльцо и прокручивал возможные варианты действий. Кика снова изображала выпь, на этот раз обнимающую веник, и он решил пока ее не трогать. Молчит, и спасибо. Ему надо подумать в тишине.

Кадук… Так-так-так. Что он помнил про кадуков? Кроме страшной пасти, разумеется. Что еще? Очень, очень плохо, что кадук… Это болезни, это человеческие дети, сгинувшие в лесу, это неурожай и непогодь, ссоры и несчастные случаи. Всем будет так плохо, что в конце концов они сами попрыгают в широко раззявленную кадучью глотку. Но от любой нечисти должно быть средство, разве не так? Что ему дедушка рассказывал? Что все в мире уравновешено, а значит, из любой сложной ситуации есть выход. Главное, оставаться спокойным и внимательно смотреть по сторонам!

Барматошка осмотрелся. Кика все так же сто-

яла выпью посреди крыльца: глаза зажмурены, веник прижат к груди, костлявые пальцы нежно перебирают лозинки. Поднялся ветер, косой дождь намочил резной подзор, и теперь капли срывались с его острых кончиков и падали на дощатый пол. Звук получался глухой и грустный. С крыльца виднелся скромный сад на несколько яблонь, за ним — сточная канава, летом вся поросшая травой, а сейчас лысая и оттого больше похожая на невзрачную яму, чем на роскошное жилище головастиков и тритонов. За канавой, за старыми смородиновыми кустами начинался луг. За лугом — Барматошка пару раз даже выбирался туда — текла речка. Летом луг вдоль тропы зарастал чертополохом… Погодите…

— Кика! — воскликнул он так неожиданно, что кикимора подпрыгнула.

— Чего? — Она недовольно нахмурилась и посмотрела на притопывающего от холода и нетерпения доброхожего. — Чего кричать-то?

— Кика, слушай! Раньше ведь гоняли кадуков от деревни, да?

— Ну, гоняли. И что?

— Так давай и мы прогоним. Найдем старших, соберемся все вместе и покажем этому лиху, что тут его не ждали! Нечего тут кормиться, пусть

катится назад в свои чащобы!

Кикимора посмотрела на него снисходительно, даже с некоторой жалостью.

— Мал ты еще, Бартошка. Не знаешь ничего.

— Это чего это я такого не знаю?!

— Раньше на кадука всей деревней ходили. А то и не одной. Травы жгли, солью сыпали, резали злые помыслы ножами заговоренными. А что сейчас? Даже деревни нет, так, дачный поселок. Уймись, доброхожий, тут делу никак не помочь.

Но Барматошка сдаваться не собирался. Подоткнул понадежнее высвободившуюся от метаний рубаху, сложил лапы на груди.

— Ты послушай меня, Кика. Там на лугу старого чертополоха — уйма и еще немножко. Гоняли кадуков чертополохом?

— Ну, гоняли. Сам знаешь. Но одного черпотолоха мало.

— А что еще надо?

Кикимора отряхнулась, как собака, провела когтистой рукой по всклокоченной шевелюре, засунула веник под мышку и стала загибать пальцы.

— Чертополох — чтобы гнать, полынь — чтобы съесть не дать, железо — чтоб резать, соль — чтоб слепить и одолень-трава — чтобы дорогу навек

закрыть.

Барматошка задумчиво прикусил губу.

— Одолень-трава? Чего это такое?

Кика пожала плечами:

— Цветок такой. Белый. Летом в воде растет.

— Кувшинка, что ль?

— Сам ты кувшинка. Говорю же — одолень-трава.

— Ты описала кувшинку.

— Не все то кувшинка, что выглядит как кувшинка. Говорю же, мал ты еще.

Доброхожий пропустил мимо ушей последнюю реплику. Он очень переживал, что если потеряет деловой настрой, то потеряет вообще все — думать про кадука было невероятно страшно, а мысли о том, что старшие могли уже попасться в ловушку чудовища, оказались вообще невыносимы. Так что пусть кикимора ехидничает сколько влезет. Надо что-то делать, это единственное спасение.

— Слушай, Кика. У тебя полыни не осталось?

— Нужна свежая, чтобы пахла. У меня только прошлогодняя висит в сарае. Хозяйка повесила от мышей.

— Неси. Только не засни, пожалуйста.

— Ладно.

Кикимора снова встряхнулась и шмыгнула под дождь, в сторону сарая. Барматошка открыл дверь дома пошире, подпер ее куском кирпича. Вошел на кухню, забрался в подвесной шкафчик и вытолкал оттуда пакет соли. Вот радость-то, что человеческие хозяева оставляли соль на зиму. Думали, оставляют, потому что, мол, чего ее забирать, что ей тут сделается. А на деле ведь соль — первая защита. Пока в доме есть соль — любой нечистик сто раз подумает, прежде чем порог переступить. Кстати, о порогах.

Доброхожий набрал полные пригоршни соли и хорошенько просыпал вдоль порога. Так будет надежнее. Потом залез в ящик с приборами. Попробовал хозяйский нож, но поднять не смог, слишком тяжелым для него оказался. С большими металлическими ножницами тоже справиться не удалось. Что ж делать-то, нужно же чем-то резать? Барматошка пригорюнился было, но тут вспомнил: человеческая дочка вырезала бумажным куклам наряды, а ножнички у нее были чудесные, цвета заката. Им он тоже помог потеряться… Просто так. Очень красивые ножнички. Если старшие узнают, будет ему нагоняй, но сейчас это неважно. Он метнулся в большую комнату, забрался за печь и, чихая от пыли, вы-

тащил детские ножницы. Железо? Железо! Ну, во всяком случае, какой-то металл. И в лапе лежат хорошо. Барматошка пару раз щелкнул ножницами и довольно кивнул.

На кухне что-то упало.

Доброхожий засеменил обратно. Кика сидела на полу: в одной руке — веник, во второй — вязанка сухой полыни.

— Ты чего это тут? — Она указала на соль.

— На всякий случай. Под ноги надо смотреть.

Кикимора недовольно зыркнула на него и подула на обожженную ступню. Ничего страшного, скоро заживет. На домашних кикимор и в целом на добрых к человеку существ соль почти не действует, так, минутная неприятность. Дело привычки.

— Вот тебе полынь. — Кика бросила в него вязанкой.

Доброхожий вязанку поймал. Понюхал. Старая полынь почти не пахла.

— Вот и я про то же, — кивнула кикимора.

— Это не страшно, мы размочим ее водой, когда придет время. И тогда она запахнет.

— Такой твой план, да? Хитрый доброхожий! — хмыкнула кикимора и наконец поднялась. — Чего дальше?

— У нас есть полынь, соль и железо. Остались чертополох и одолень-трава.

Они вместе сходили на луг и нарвали чертополоха. Потом сели на крыльце. Дождь наконец перестал. Никто из старших так и не появился.

Барматошка сидел и притопывал, нервничал.

— Слышь, Кика. Когда на кадука раньше ходили?

— А?

— Ну, днем или ночью?

Кикимора почесала за ухом.

— Кадуки выходят три раза в день: в полночь, на восходе и в полдень. Только тогда они могут сожрать свою жертву. И только тогда их можно прогнать. В остальное время кадук прячется, и достать его никак нельзя. Раньше в полдень ходили. Не так страшно.

Доброхожий посмотрел на темнеющее небо.

— Полдень мы давно пропустили. Вечереет.

— Вечереет, — согласилась кикимора.

— Пойдем к полночи.

Кика молча обняла потрепанный веник. Потом напомнила:

— Одолень-травы нет. Как мы дорогу-то ему закроем?

— Там прямо букет надо?

Кикимора искоса глянула на доброхожего.

— Много чести кадуку цветами его забрасывать.

— Так а что тогда?

— Корешки надо. В порошок.

— Так корешки, наверное, можно в реке найти? Если рыбы все не съели. После зимы-то, может, на дне валяются.

— И кто на дно речное полезет? Ты, что ль?

— У дедушки сома можно спросить.

— Так он спит еще.

— А может, и не спит.

Посидели немного. После дождя над лесом начинал сгущаться туман. Темнело. Черные узкие макушки высоких елок недвижно торчали за крышами дачных домиков — как зубы. Кика вздохнула, поднялась и молча потопала в сторону реки. Все верно: им, кикиморам, с водяными жителями проще договариваться. Барматошка хлопнул себя по коленям. Ну что же. А он пока выполнит свою часть работы. И выполнит хорошо.

Доброхожий вернулся в дом. Нашел котомку поцелее, залез в печь и наскреб по углам пепла. Собрал пепел в котомку, привязал ее к пеньковому пояску. Поправил рубаху. Взял еще одну котомку, побольше, туда щедро сыпанул соли.

Тоже прикрепил к поясу. Наточил, как сумел, детские ножницы. Собранный чертополох скрутил в плотные вязанки и обмотал красными нитками — получилось что-то наподобие факелов. Очень хорошо, ведь надо будет жечь. Долго искал и в конце концов нашел спички. Подумал было, может, подсушить чертополох, но вовремя вспомнил, что им нужен будет дым, а не огонь. Как бы еще не пришлось замачивать сухие травы. Кстати, о замачивании. Барматошка взял вязанку полыни, что принесла кикимора из сарая, положил ее в тазик, залил водой. Вроде все.

Он вернулся на крыльцо и сел ждать кикимору.

Та объявилась нескоро, мокрая, чихающая, все так же обнимающая хозяйкин веник. Веник тоже был мокрый. «Да она его из рук не выпускает», — подумал Барматошка, хотел было подшутить, но тут заметил, что во второй руке Кика несет целую охапку грязных полугнилых корневищ.

— Одолень-трава! — доброхожий запрыгал от восторга. — У тебя получилось!

Кика кивнула и устало присела рядом на крылечке. Вокруг нее сразу натекла лужа. Резко запахло рекой.

— Дедушка сом приветы шлет. Вот все, что

нашли.

Корневищ было не то чтобы много. Но точно лучше, чем ничего.

— Ты отдохни, Кикочка. Я сейчас нарежу помельче, порошок делать времени нет. А ты посиди пока.

— Полночь скоро.

— Успеется.

Он вприпрыжку поскакал на кухню, ловко очистил корневища от ила и гнили, как мог мелко нарубил. Спрятал в новую котомку. Потом достал из тазика полынь, стряхнул воду и сплел из размокшей травы веночек. И еще один. Вернулся на крыльцо.

— Кика, вот тебе ожерелье! — Он с важным видом повесил кикиморе на шею плетеную ленту мокрой травы. Кика принюхалась.

— Хорошо пахнет, резко. Молодец, Бартоша!

Он довольно улыбнулся и побежал в дом за чертополохом. Через минуту, в полной готовности, доброхожий снова был на крыльце.

— Ну что, Кика. Идем?

— Идем, — кивнула кикимора, неспешно поднялась и потащилась к лесу.

Лес начинался резко, от дачного поселка его отделяла только узкая песчаная дорога. Ни забора,

ни столба. Кое-где поблизости в земле виднелись припрятанные погреба владельцев тех участков, что граничили с чащей. Вились во все стороны тропинки. Доброхожий остановился и достал из котомки пригоршню пепла. Прошелся вдоль леса, посыпая землю.

— Ты чего это? — Кика с интересом наблюдала за ним.

— Своих ищу.

— Это как это?

— Пепел со свойской печки покажет родные следы. Тут же и мои старшие где-то… О, вот, смотри! Они туда пошли!

На одной из тропинок пепел действительно едва заметно засветился на отпечатках крошечных продолговатых стоп. Доброхожий и кикимора переглянулись.

— Ну, вроде как надо идти? — Барматошка повыше подоткнул рубаху, чтобы не цеплялась за ветки на земле.

— Надо идти, — эхом откликнулась Кика.

— Ну, идем?

— Идем.

Но вместо того чтобы идти, они продолжали стоять и смотреть в темнеющую чащу, где в зыбком тумане терялась тропинка.

Кикимора вздохнула:

— Что-то страшно.

— Это да. — Барматошка еще раз проверил все котомки. — Но идти надо.

— Надо.

— Давай проговорим.

— Что проговорим?

— Ну, план. Вот пошли мы. Встретили своих — это если повезет. Все им рассказали, старшим котомки отдали, пошли домой.

— А если не повезет?

Барматошка вздохнул. Ему казалось, что не повезет. Слишком мрачным был лес, слишком чужим и непривычным. Неспроста.

— Потому и надо проговорить. Смотри, вот шли мы шли — и встретили кадука. Что надо делать?

Кикимора задумалась.

— Это смотря как мы его встретим. Ежели он нас не учует и удастся подойти незаметно — тогда надо чертополох жечь, гнать его дымом и одолень-травой по следам его сыпать, чтобы не вернулся.

— А ежели учует?

— Тогда… Если он первый нас заметит, то будет чары наводить, надо чары резать железом. Солью кадука слепить. Дымом гнать, одолень-травой

тропу замыкать.

— А полынь зачем?

Кикимора с недоумением посмотрела на Барматошку.

— Чего?

Доброхожий указал на венок из мокрой травы у себя на шее.

— Полынь зачем?

— А, это чтобы не сожрал. Ему запах полыни очень противен.

«Приятно. Хоть не сожрет», — подумал доброхожий, но тотчас же отругал себя за малодушие.

— Надо было побольше полыни взять, раздали бы своим, если б встретили.

Кика пожала плечами:

— Принесла все, что было.

Она пристроила веник на плечо и шагнула вперед по тропинке. Барматошка обернулся. Дачный поселок понемногу утопал в тумане. Доброхожий вздохнул и заторопился за кикиморой.

Чем дальше в лес, тем становилось тревожнее. Они шли очень долго, время от времени посыпая дорожку пеплом, чтобы убедиться, что не сбились со следа. В какой-то момент Барматошка понял, что не узнаёт родной лес. Ветви орешника, что свисали к тропинке, казались длинными

когтистыми лапами, высокие сосны скрипели и стонали, хотя погода оставалась безветренной, туман переливался на тропу через прошлогодние пожухлые кусты черники и клубился, закрывая собой дорогу. В какой-то момент ему показалось, что через тропинку прошмыгнула маленькая робкая тень лесавки.

Следы сияли, и потому кикимора и доброхожий упрямо топали вперед.

Вдруг Кика резко остановилась. Барматошка смотрел себе под ноги и потому чуть не врезался в тощую кикимору.

— Ты чего? — возмущенно спросил он.

Кика медленно повернулась к нему.

— Бартосик, а мы ведь попались как миленькие.

— Ты о чем?

— Как доброхожие обновляют границы в лесу?

Барматошка почесал голову.

— Ну, идут в лес, к границе. Потом расходятся вдоль, шепоты всякие шепчут, ветки определенным образом выкладывают. А что?

— А далеко первая граница от поселка?

— Да нет, недалеко совсем. Минут пять ходу.

Кикимора кивнула:

— Я так и думала. А теперь ты подумай: разве

мы видели, чтобы следы уходили с тропинки?

Доброхожий сглотнул.

— Нет.

— А давно ведь идем, верно?

— Верно…Так что ж это, Кика?

Кикимора сморщила длинный нос и, не сводя широко распахнутых глаз с доброхожего, аккуратно принюхалась.

— А то, Бартошка, что кадук нас ведет. Знаешь, как он колдует? Ты думаешь, что идешь, а на деле стоишь на месте. Потому и следы не сходят с тропинки. Кадучье колдовство совсем близко подошло к дачам. Если бы не туман, то мы б дома увидели, поглядев назад.

— Потому и туман?

Она кивнула:

— Потому и туман.

В лесу затрещало, захрустело. Где-то за елями двигалось что-то крупное. Вроде бы тень, огромная, как самый большой выворотень, что Барматошка видел за свою жизнь, очень медленно, почти незаметно двигалась в глубине чащи, но сказать точно было невозможно: туман.

— Где твоя соль? — шепотом спросила Кика, выставляя хозяйкину метелку перед собой, как меч. — Доставай соль!

Барматошка полез в котомку. Лапы нещадно тряслись от внезапно нахлынувшего страха. Кое-как захватив горсть соли, он ссыпал ее в протянутую кикиморину ладошку.

— Теперь поджигай чертополох.

Доброхожий опустился на колени, достал коробок, положил перед собой траву, свернутую в факелы, и чиркнул спичкой. Спичка зажглась и тотчас потухла. Туман сгустился. Стало невероятно сыро, Барматошка почувствовал, как почти мгновенно напиталась водой и обвисла тяжелым грузом его замечательная разноцветная рубаха. Он чиркнул спичкой еще раз. И еще. Спички загорались и сразу гасли, не успевая даже коснуться чертополоха.

— Бартоша, давай скорей.

Он поднял голову и с ужасом увидел, как в туманной тьме леса загорелось и погасло алое пламя.

— Может, болотные огоньки? — робко предположил он, пробуя поджечь траву двумя спичками сразу.

— Болотные огоньки другого цвета, — спокойно заметила Кика. — Это кадук. Это его пасть светится.

Барматошка чуть не заплакал от страха. В кон-

це концов, он маленький доброхожий, старшие не просто так оставили его дома, когда пошли в лес. Ему место на печке, греть мышат, а не вот это вот все. Лапы колотились, спички падали на сырую хвою тропинки.

Алое пламя вспыхнуло ближе.

Кика, казалось, снова изображала выпь. Она присела на одной ноге, вплотную прижав к себе вторую, сгорбилась, обняла хозяйкин веник и запрокинула голову к невидимому в тумане небу. Глаза ее были закрыты.

Плохи дела, что ж теперь…

Несколько вещей произошло одновременно. Три спички, зажженные разом, наконец дали сильную искру, и чертополох занялся. Обрадованный, Барматошка подскочил, размахивая факелом, и в тот же миг к нему из тумана метнулась огромная, покрытая черной шерстью лапа. Схватила за шею и потянула в темноту. И забрала бы прямо в жерло полыхающей пасти, жадного ненасытного огня, который успел разглядеть Барматошка меж острых, как пилы, зубов — если бы кикимора, в своей неподвижности больше похожая на сучок, чем на живое существо, вдруг резким выпадом не метнула в глаза проступившей из тумана твари горсть соли.

Чудовище заревело, бросило доброхожего, зацарапало когтями по глазам.

— Быстро, Барматей, еще соли! Подними факел!

Барматошка, пытаясь отдышаться, бросил Кике котомку с солью. Подхватил дымящий чертополох и, изо всех сил размахивая им, чтобы дыму было побольше, стал спиной к спине кикиморы.

Не оглядываясь, Кика спросила:

— Ты как? Цел?

— Цел.

— Всё на месте?

— Что всё?

— Ну, руки, ноги.

Барматошка на всякий случай бегло осмотрел себя.

— Всё на месте. Что дальше?

— Ждем.

И они ждали. Чудище, яростно рыча, кружило в тумане, алые проблески то приближались, то отдалялись.

— Чего он ходит? — Барматошку жутко пугало это ожидание. Хотелось, чтобы скорей все закончилось, хоть как-нибудь.

— Дым не пускает его. Он ждет, пока прогорит чертополох.

— А мы чего ждем?

Кикимора пожала плечами:

— Счастливого случая, Барматошка. Или несчастливого, если чертополох все-таки закончится. Я же говорила, раньше кадука всей деревней загоняли. А нас тут только двое.

Кадук затих. Перестала мелькать огненная пасть. Не слышно было треска и шорохов.

— Не к добру… — прошептал доброхожий, и в тот же миг черная лапа снова метнулась из тумана. В этот раз в сторону Кики.

Юркая кикимора ловко увернулась, клацнула зубами, сыпанула солью, крутнулась, уходя от острых когтей, упала… И закричала. Дико, с надрывом.

— Кика! — Бартошка бросился к ней. — Что случилось?

Она была целехонька, но тощее серо-зеленое тело колотилось.

— Веник, — выдохнула кикимора. — Он забрал мой веник!

Она дернулась, сбрасывая с плеча его лапу, подскочила и рванула в лес.

— Кика!!! Стой!!!

Ругаясь на чем свет стоит всеми ругательствами, которые успел узнать к своим летам,

доброхожий бросился вслед за кикиморой в переплетение мхов, можжевельников и болиголова. Он едва не потерял ее из виду в тумане и теперь несся, думая только о том, чтобы не отстать. И вдруг заметил рядом зайца. Тот прыгал между кустами голубики, стараясь держаться вровень с доброхожим.

— Здорово, младшой. Давай чертополоха!

Барматошка чуть не зарылся носом в мох от неожиданности. Заяц говорил знакомым голосом! Вернее, не заяц, а его маленький наездник.

— Старшой! Ты?

— Не мели языком, чертополоха давай!

Барматошка протянул старшому весь оставшийся чертополох. И, на бегу глотая слезы облегчения, заметил в тумане еще с десяток зайцев. Распределив между собой дымящиеся факелы, каждому по чуть-чуть, доброхожие растянулись широкой дугой. Кикина спина все так же мелькала впереди, и Барматошка как мог ускорился, на бегу крича:

— Кика! Кика, помощь пришла!!!

Он успел увидеть, как кикимора исчезла за гигантским выворотнем. Как этот выворотень выпростал огромные черные лапы с когтями. Как схватил кикимору, поднял вверх и открыл

гигантскую зубастую пасть, пылающую алым огнем.

— Кика!!!

Не помня себя от страха и отчаяния, Барматошка не взбежал — взлетел по спине кадука прямо тому на макушку. Схватился за небольшие, поросшие жесткой щетиной уши, закричал для храбрости и что было сил потянул на себя. Кадук взревел. Кикимора, зависшая над самой пастью, не растерялась и бросила в глотку чудовищу котомку с солью. Кадук яростно взвыл и отбросил Кику, та стукнулась о дерево и безвольно сползла вниз по стволу. Барматошка остался болтаться на спине взбесившегося от боли кадука, не в силах от страха отпустить уши.

Из тумана показались зайцы. На спине каждого сидел доброхожий с факелом, тугие струи дыма, казалось, липли к кадуку, опутывали его, словно веревки.

— Эй, младшой! — окликнули Барматея снизу. — Скинь ножницы и одолень-траву.

До Барматошки наконец дошло, что лучше сброситься самому, что он и сделал незамедлительно.

Седой доброхожий поймал его у самой земли. Ловко отцепил котомки с пояса, подсадил на

зайца, хлопнул серого по боку.

— Неси этого домой, ушастый.

И, открывая котомки, побежал к своим.

Заяц покорно прыгнул в заросли черники.

— Нет! — Барматошка перекинул ногу через заячью спину и скатился кубарем в мох. — Нет! Кика!

Он бросился в сторону неподвижной кикиморы.

Кадук ярился. Рвал почву, ревел, щелкал пылающей пастью. Барматошка бежал, чудом увиливая от рассекающих воздух когтей, ничего не видя перед собой, кроме серо-зеленого холмика под сосной.

— Кика! — Он подбежал и упал на кикимору, стараясь прикрыть ее собой.

Кадук был совсем близко. Барматошка зажмурился.

— Ну-ка, ребятки, поднажмем!

Он услышал, как защелкали ножницы, как затопали и зашептали что-то невнятное доброхожие. Густой едкий дым заволок все вокруг, смешался с туманом, и в какой-то момент Барматей понял, что рев чудовища как будто гаснет вдали. Он открыл глаза.

Седой старшой стоял посередине растерзан-

ной кадуком поляны и посыпал землю мелко нарезанным корнем одолень-травы. Он заметил Барматея и усмехнулся.

— Мал да удал, а, Барматошка? Прогнали мы кадука и дорогу ему замкнули. Твоими хлопотами. Как подруга?

Барматошка спохватился, слез с кикиморы и осторожно заглянул ей в лицо.

Кика спала. В лесу было сыро и холодно, так что она спала. И во сне нежно обнимала потрепанный, но все еще относительно целый хозяйкин веник.

Поговорить по душам им довелось через неделю, не раньше. Сначала границы замыкали да чистили лес от кадучьего колдовства. Потом надо было кротов будить. Полно было хлопот. А Кика все это время отсыпалась в сарае.

Но вот пригрело солнышко. Небо стало высокое и голубое. Барматошка выбрался на крыльцо — просушить под весенними лучами промокшую после хождения по лужам полосатую рубаху. Кикимора показалась из сарая, подслеповато прищурилась и, заметив доброхожего, подошла к крыльцу.

— Как дела, Барматей?

Он довольно улыбнулся:

— Прекрасно, Кика.

Она села рядом. Доброхожий заметил в ее руках небольшой мешочек.

— Это что у тебя?

— Гостинцы.

— Кому?

— Лесавкам. Пойдешь со мной?

— Конечно!

Кикимора кивнула, поднялась и потопала в сторону леса. Доброхожий подоткнул рубаху и поспешил следом.

Он уже носил лесавкам гостинцы. Пару прошлогодних конфет, три пластмассовых кристалла, которые отбрасывали чудесные блики, когда на них попадал солнечный луч, кусочек разноцветного карандаша, все оставшиеся сухари и мешочек соли. Лесавкам особенно понравилась соль.

Но и с кикиморой он сходить был рад.

В конце концов, где бы они все были, если бы маленькие юркие существа до поры до времени не спрятали попавших в беду доброхожих в своих норах. Кадук был бы сыт, поселок был бы в неотвратимой беде. Хорошо, что лесавки добрые, хорошо, что смелые. Никакой соли для них не жалко.

Кикимора и доброхожий пришли на полянку и сели на мох. Кика открыла мешочек и высыпала на пенек горсть крошечных, сделанных из тончайших веточек вееников. Барматошка недоуменно уставился на них.

— Веники? Но лесавки любят соль.

Кикимора ничего не сказала. Ждала.

Через несколько минут мох на краю полянки аккуратно приподнялся. Из-подо мха показался длинный острый нос. Потихоньку, осторожно первая лесавка выбралась на поверхность из норы. Аккуратно подошла к пенечку и взяла крошечный веник. Обнюхала. Хитро глянула на кикимору. Обняла веник и встала на одну лапу, как выпь. Довольно хихикнула. Кика хихикнула в ответ. А потом обе рассмеялись. Из нор показались другие лесавки, каждая подходила и брала маленький веник, прижимала его к сердцу и смеялась.

— Я и не знал, что они любят веники.

— Глупый ты, — весело улыбаясь, ответила кикимора. — Лесавки любят не веники и не соль. Они любят, когда с ними делятся тем, что делает тебя счастливым.

Солнце блестело за высокими деревьями. Казалось, весь лес был окутан зеленым маревом

распускающихся почек. Доброхожий лег на спину и закинул лапы за голову. Звонко смеялись лесавки, хихикала кикимора, в ветвях пели птицы.

«Как же хорошо», — подумал Барматошка и улыбнулся.

Саша Бакушкина. Словарь туманов и забытых окончаний

Саша Бакушкина

Словарь туманов и забытых окончаний



У каждого белорусского мифологического существа есть своя работа: опивень склоняет людей к пьянству, хихитун – к насмешкам над другими, а Бадюля – к скитальчеству. Бадюля бродит у дорог, а затем увязывается за человеком и селится в его доме. Человека, за которым увязалась бадюля, ожидает ряд неприятностей: он начинает пить, пуская на ветер свои накопления, пока наконец не промотает все и пойдет по свету. Чтобы выселить существо из дома, нужно вымыть все полы и вылить грязную воду на улице в сторону заходящего солнца.

ФРИКАТИВНЫЙ «Г» И РЯБЬ НА ВОДЕ

Март в Глубоком — какой там весенний запах? Разве что веет рыхлым льдом да вишневым вареньем, которое тетя Стефа сует решительно во все. Яна сидела у окна, выходящего на Светлое озеро, и смотрела, как туман лижет стекла. Этот туман был особенным — не просто влажный воздух, а словно бы живая субстанция, которая облизывала углы домов, задерживалась на карнизах. И еще казалось, прислушивалась к разговорам.

Она приехала четыре часа назад. Диктофон

был наготове, карточки с транскрипциями рассортированы по конвертам, а в блокноте уже красовалась первая запись: *«Фрикативный Г (h) — сохранился. Произносится как „hлубокае“, с придыханием. Мягкость губная, почти белорусская. Носители: 70+, мужчины, преимущественно рыбаки»*. Яна любила эту часть работы — момент, когда еще не знаешь, что найдешь, но уже чувствуешь: место особенное.

Зал гудел. Здесь собирались те, кто не торопился домой в сумерки, — впрочем, сумерек этой весной словно и не существовало. В три часа дня солнце еще резало глаза, а в пять резко наступала такая густая тьма, что свет фонарей выглядел насмешкой. Яна отметила это в блокноте: *«Аномальное исчезновение сумеречного периода. Проверить по местным наблюдениям»*.

Она макнула сушку в сгущенку, которую ей принесли в блюдце «за знакомство», и прислушалась к говору. Ей нравилась эта музыка: «цоканье», мягкое «д», и то самое *h*, которое в институте считали умирающей архаикой. Она знала: такие говоры не живут долго. Старики уносят их с собой, а молодежь чешет на том языке, что из телевизора. Ее работа — скорая, да, только архивная. Успеть записать, пока еще кто-то пом-

нит, как говорить не по-книжному.

— Ох и баламутень нынче на озере, — сказал дед за соседним столом. Он сидел один, пододвинув к себе графин с мутноватой водой. Голос у него был низкий, с характерным «гэканьем», и каждое слово он будто пробовал на вкус.

Яна машинально отметила слово. *Баламутень*. Исконное. Обозначает ветер, который гонит волну без ряби, путает глубину. Хороший диалектизм. Она потянулась к диктофону, но замерла, не успев нажать кнопку.

Вода в графине дрогнула. Не как от удара — по-другому. От середины к краям пошла медленная, ленивая рябь, будто кто-то невидимый помешивал жидкость снизу пальцем. Дед, не замечая этого, поднес стакан к губам и отхлебнул.

Яна перевела взгляд на свою кружку с чаем. Вода была спокойна.

— А что такое «баламутень», дядька? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Внутри все сжалось — профессиональное чутье подсказывало: здесь что-то не так. Или, наоборот, так, как не бывает в учебниках.

Дед повернулся. Лицо у него было спокойное, выдубленное ветрами, а глаза светлые, как вода в том самом графине.

— Ветер, касатка. Который дно мутит. Рыбе мешает, рыбаку — тоже. А вы кто будете? Из ученых?

— Диалектолог, — ответила Яна. — Слова записываю.

— Слова — это хорошо — Дед одобрительно кивнул. — Слова — они живые. Пока слово живет, и место живет.

Он повторил слово, на этот раз громче, с особым ударением на предпоследнем слоге: «Баламутень».

И снова вода в графине пошла кругами. Яна видела это совершенно отчетливо. Больше того — она *слышала* это. Ее диктофон, все еще лежащий в кармане куртки, издал короткий свистящий звук, похожий на вздох.

— Извините. — Она резко встала, чуть не опрокинув блюдце со сгущенкой. — Мне нужно проверить аппаратуру.

Она вышла на крыльцо. Туман здесь стоял такой плотный, что дальняя кормушка для синиц казалась призраком. Яна достала диктофон, включила запись и перемотала на момент разговора.

Дед говорил четко. *Баламутень*. Но после слова на спектрограмме, которую она, конечно, не могла увидеть, но *чувствовала* спиной, шла не

тишина, а низкая пульсирующая частота. Как эхо, которое не затихает, а набирает силу.

Яна — диалектолог. Она знает три мертвых языка, расшифровала архивные записи говора северных районов и написала диссертацию о том, как исчезновение одного падежа меняет структуру мышления. Но в учебниках ни слова не было о том, что слово может быть *физически* активным.

— Это просто совпадение, — сказала она вслух. — Ветер. Старые трубы.

В ответ где-то в тумане то ли скрипнула вывеска, то ли кто-то тоненько, по-мышиному, хихикнул.

Она вернулась в зал. Дед уже ушел, оставив на столе монету и тот самый графин. Яна, словно вор, оглянулась по сторонам, подошла к столу и коснулась стекла.

Вода была теплой. И когда ее палец скользнул по гладкой поверхности, она почувствовала подушечкой слабый, ритмичный пульс. Как у спящего котенка.

Яна села на место деда, вытащила чистую карточку и дрожащей рукой вывела:

«Баламутень — ветер, взмучивающий воду со дна. Произносится с усилием на окончании. Слово

обладает…»

Она замялась. Потом перечеркнула последнюю строчку и написала просто:

«Слово обладает свойством. Требует проверки. Глубокое, корчма „У Сымона“. Начало полевого сезона — неожиданное».

Спрятав карточку в конверт, она подозвала хозяйку.

— Тетя Стефа, а что это за дед был? Со странным словом?

Тетя Стефа, круглая и румяная, как пирожок с вишней, махнула рукой в сторону озера.

— А, Сысой Баюн. Рыбак. Он у нас с причудами. Говорят, его прадед еще при царе что-то с русалками не поделил. С тех пор их род водой баламутит. Вы, главное, не бойтесь. У нас здесь все по-людски, только с душком.

— С душком? — переспросила Яна.

— Ну, — хозяйка понизила голос. — Место-то какое? Глубокое. Озёра — до самого дна не достанешь. А что на дне лежит, то и всплывает. В словах ваших — тоже. Вы осторожнее с записями-то. Иной раз скажешь слово правильно — а оно возьмет да и оживет.

Яна допила остывший чай. Диктофон в кармане снова вздохнул.

— Фрикативный Г…

Она смотрела, как туман за окном сереет, наливаясь то ли рассветом, то ли еще более густой тьмой. Черт его разберет. Живая фонетика, мать ее. Она еще не знала, что завтра на почте встретит существо в кепке, которое пьет чай из крышечки от чернильницы и горюет о пропавших словах. Она просто открыла блокнот и написала в самом верху, жирно обведя:

«Правило № 1 для полевых исследований в Глубоком. Слова здесь не описывают реальность. Слова здесь — это сама реальность. Будь осторожна с окончаниями. Они держат мир на плаву».

ПОЧТА. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Утром туман стал еще плотнее. Яна шла по улице, нащупывая ногой дощатый тротуар, и чувствовала, как влага оседает на волосах, на воротнике куртки, на бумажных карточках в сумке. Город пяти озер дышал ей в затылок холодным, влажным словом: *Глы-ы-ы-бокае*. Она любила этот звук — мягкое придыхание в середине, которое делало название города не просто топонимом, а обещанием глубины.

Здание почты в Глубоком напоминало старый комод, забытый на чердаке: оно пахло сургучом,

пыльным картоном и еще чем-то сладким — как цветы, которые засохли между страницами и уже не пахнут, а только намекают. Тяжелая дубовая дверь закрылась за Яной с гулким вздохом, отрезав звуки улицы, где туман уже начал синеть, превращаясь в тяжелые сумерки. Хотя нет, не в сумерки — просто в темноту.

Внутри было тихо. Единственная лампа под зеленым абажуром освещала стойку, за которой вместо привычной операционистки возвышались горы конвертов. Они не просто лежали — они шептались. Яна замерла, прислушиваясь. Это был не шум бумаги, а едва уловимый шелест тысяч «здравствуй», «прощай» и «люблю», запертых в бумажных прямоугольниках. Она вдруг поняла: это и есть настоящая фонетика — не та, что записывают в транскрипциях, а та, что живет между людьми, когда их разделяют расстояния.

— До востребования? — раздался скрипучий голос откуда-то из-под стойки.

Яна осторожно подошла ближе. На табурете, обитом протертым бархатом, сидел кто-то размером с крупного кота. В самошитой почтовой кепке с медной пуговицей. Из-под кепки торчали пучки серой шерсти — точь-в-точь бакенбарды старого почтмейстера. Он сосредоточенно взве-

шивал на старинных медных весах крошечное письмо, запечатанное настоящим сургучом. На одной чаше лежало письмо, на другой — сухая рябиновая ягода. Чаши качались в идеальном равновесии.

— Я… я по поводу исчезающих слов, — начала Яна, стараясь не выказать удивления. — И мне сказали, что вам нравятся такие сладости.

Она осторожно выложила на стойку пакет с сушками. Запах мака и ванили мгновенно заполнил пространство между стеллажами. Существо повело носом, его бакенбарды дрогнули. Оно ловко, почти по-человечески, выхватило одну сушку и с хрустом вонзило в нее зубы.

— Филологи из столицы, — прошамкал он, не переставая жевать. — Приезжают, записывают, а потом увозят наши слова в свои толстые словари, где те засыхают, как гербарий. А здесь слова должны дышать.

— А вы… кто? — осторожно спросила Яна.

Существо обиженно поправило кепку.

— Пачтик я. Почтовый дух. У нас в Глубоком так всех кличут, кто с письмами возится. Ну, бывших не бывает.

Яна хотела переспросить, но Пачтик уже спрыгнул с табурета и жестом приказал Яне следовать

за ним вглубь архива.

— Смотри, панянка. Ты взвесь. Письмо без души — пушинка. А где каждое слово на вес золота — то чашку к полу так и тянет. Еле на табуретку залезаю потом. Но сейчас… — он обвел лапой стеллажи, — сейчас все стало слишком легким. Слишком пустым.

Яна посмотрела туда, куда он указывал. На полках лежали сотни конвертов, которые казались почти прозрачными, словно их вымочили в отбеливателе. Сквозь них можно было видеть пыльные корешки дальних стеллажей.

— Это из-за «сутони»? — догадалась она.

— Именно. — Пачтик сердито поправил кепку. — Вечерние письма — самые тяжелые. В них люди пишут то, на что не решаются при свете дня. А когда сумерки украли, эти слова просто… выветрились. Остались одни союзы и предлоги. Ты когда-нибудь пробовала читать письмо, состоящее из одних «и», «но» и «было»? Это же семантическая пытка!

Яна подошла к одному из стеллажей и коснулась прозрачного конверта. Под пальцами она почувствовала не бумагу, а холодный вакуум. Ей вспомнилась диссертация: она писала о том, как исчезновение локальных падежей в северных

говорах привело к тому, что люди перестали различать «дом как место» и «дом как направление». Тогда это казалось абстрактной теорией. Теперь она видела воочию, что происходит, когда исчезает слово, организующее целый пласт бытия.

— Кто это сделал? — спросила она.

— Та, кто не любит переходов, — буркнул Пачтик. — Кто хочет, чтобы мир был черно-белым. Бадюля. Она завелась в старом кинотеатре на окраине. Она глотает полутона. Знаешь, как она работает? Подстерегает слово в тот момент, когда его произносят в тумане. Одно неловкое окончание — и ам! Нет слова. А без имени нет и вещи.

Пачтик внезапно остановился и посмотрел на Яну желтыми, как старые марки, глазами.

— Если хочешь вернуть «сутонь», тебе придется пойти туда. Но помни: она попытается съесть и твои слова. Как только ты перестанешь понимать разницу между «холодно» и «зябко», между «тихо» и «безмолвно» — ты проиграла.

Он протянул ей старый латунный почтовый рожок. Металл был покрыт зеленоватой патиной, но мундштук был отполирован до блеска — им явно пользовались.

— Возьми. В него нужно трубить не воздухом, а смыслом. Вспомни самое уютное определение

сумерек, которое знаешь. Но не из словаря Даля. А из своего сердца. Иначе бадюля просто вычеркнет тебя из реальности, как опечатку.

Яна взяла рожок. Металл был холодным, но стоило сжать его в пальцах, как по поверхности пробежала теплая, живая вибрация.

— А ты? — спросила она. — Ты не пойдешь со мной?

Пачтик замялся, покрутил кепку в лапах.

— Мое место здесь, — сказал он тихо. — Кто-то же должен остаться и хранить то, что еще не пропало. Но я… я буду ждать. И сушки мне оставь. На всякий случай.

Она оставила ему весь пакет. Когда Яна выходила, Пачтик уже сидел на своем табурете, нахлобучив кепку на самые глаза, и делал вид, что очень занят сортировкой векселей.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ЗЛО

На следующее утро уют почтового отделения был нарушен звуком, который Яна ненавидела больше всего, — сухим, безжизненным скрипом канцелярских папок. Она заглянула на огонек, чтобы передать Пачтику еще сушек (вчерашние кончились с удивительной быстротой), и застала сцену, от которой у нее похолодело внутри.

У стойки, потеснив горы «шепчущих» писем, стоял мужчина в сером пиджаке, от которого пахло хлоркой и старым мелом. Он деловито перебирал конверты, составляя из них две стопки: одна повыше, другая совсем маленькая.

— Регламент, уважаемый, — цедил он, брезгливо отодвигая в сторону стопку прозрачных конвертов. — Утилизация неактуальной корреспонденции. Эти письма здесь лежат с прошлого века. Кому они нужны? «Сутонь», «баламутень»… Этого даже в государственном реестре нет. Мусор. Семантический шум.

Это был завхоз местной библиотеки, господин Кудевич — человек с воображением размером с инвентарный номер. Ценность для него — год издания, а все, что раньше, — макулатура. Яна видела его накануне: он пересчитывал стулья в читальном зале и записывал их в журнал с таким видом, будто от этого зависела судьба мироздания. Поговаривали, что раньше он преподавал русский язык в школе, но после реформы образования остался не у дел и теперь вымещал обиду на всем, что нельзя было оцифровать и разложить по полочкам.

— Это не мусор! — Из-под стойки выскочил Пачтик. Его кепка съехала набок, а бакенбарды

топорщились от ярости. — Это до востребования! Если их не востребовали сегодня, значит, востребуют через сто лет! Каждое слово имеет право на хранение!

— Уйди, ветошь. — Кудевич замахнулся тяжелой папкой. — Спишу вместе со стеллажами.

Яна шагнула вперед, загораживая Пачтика. Она видела, как от присутствия Кудевича письма блекнут еще сильнее, как их полупрозрачные оболочки съеживаются, будто пытаются стать невидимыми. Бадюля была монстром из тени, но Кудевич был монстром из равнодушия — и неизвестно, кто из них был опаснее для живой речи. Она вспомнила свою диссертацию: самая страшная потеря языка происходит не тогда, когда умирает последний носитель, а тогда, когда язык перестают *считать* ценностью.

— Эти карточки — объект научного исследования, — ледяным тоном произнесла Яна, доставая свое удостоверение. Она сунула его почти в лицо Кудевичу. — Любое посягательство на них будет расценено как уничтожение культурного наследия. Университетская программа, грант, государственная регистрация. Хотите разбираться в суде?

Кудевич замер. Магия печатей и официальных

бланков подействовала на него сильнее, чем любое заклинание. Он фыркнул, поправил галстук, бросил последний взгляд на прозрачные конверты — с явным сожалением — и вышел, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась пыль.

Пачтик тяжело опустился на пол, прижимая к груди спасенное письмо. Оно было совсем прозрачным, почти невесомым, и только одно слово в адресе еще держалось, начертанное бледными, но еще различимыми буквами: *«До востребования»*.

— Вот видишь, панянка, — прошептал он. — Не обязательно быть хтоническим духом, чтобы убивать слова. Иногда достаточно просто не иметь сердца.

Яна опустилась рядом с ним, не боясь запятнать джинсы вековой пылью.

— А если слова пропадают не потому, что их украли, а потому, что их перестали ждать? — спросила она тихо.

Пачтик поднял на нее желтые глаза.

— Для того и есть такие, как ты. И такие, как я. Кто-то должен ждать. Всегда. Даже если кажется, что уже ничего не вернуть.

Она оставила ему сушки. В этот раз — две пачки.

СТАРЫЙ КИНОТЕАТР. ЭТИМОЛОГИЯ СТРАХА

Кинотеатр «Радуга» на окраине Глубокого давно не видел ни радуги, ни зрителей. Вывеска облупилась, афиши под дождем превратились в бесформенные кляксы, и даже туман здесь казался гуще, словно не хотел рассеиваться, помня что-то, что люди уже забыли. Яна шла по разбитому асфальту и думала о том, как много слов исчезло из ее собственной речи за последние сутки. Она поймала себя на том, что не может вспомнить разницу между «сумрачный» и «мрачный». Оба теперь казались одинаково черными.

Она толкнула дверь. Та поддалась с протяжным стоном.

Внутри было зябко — той особой бессмысленной прохладой, которая бывает там, где вещи забыли свои имена. Ряды кресел в полумраке казались выбитыми зубами огромного зверя. Запах плесени и старого киноклея смешивался с чем-то приторно-сладким, как переспевшие вишни, упавшие на землю и никем не собранные.

Бадюля ждала ее в центре зала.

Она не была чудовищем из сказок. Скорее, походила на помехи на старом телевизоре: серая вязкая статика. Сожмется в комок — и через се-

кунду уже расползается по полу маслянистым пятном, как пролитое машинное масло. От нее исходил гул — монотонный, высасывающий мысли, как белый шум. Эффектом была не боль, а именно *вычитание*: каждая секунда рядом с ней делала мир беднее на один оттенок.

Яна шагнула в проход. Она хотела крикнуть: «Верни сумерки!» — но гул ударил в грудь, и слова рассыпались.

— Темно… — сорвалось с ее губ вместо «сумерки». — Скоро будет… просто ночь.

Она почувствовала, как из головы, будто песок из разбитых песочных часов, вымываются оттенки. Она забывала разницу между «багряным» и «красным», между «усталостью» и «изнеможением». Глаголы теряли видовые пары, прилагательные сплющивались до черно-белых полюсов. Бадюля довольно заурчала, вибрируя серой массой. Яна поняла: если она не остановится, через несколько минут ее внутренний лексикон сожмется до размеров таблички «Вход/Выход».

Тогда она остановилась.

Ее рука в кармане нащупала мамин шарф — мягкую шерсть, сохранившую запах дома и чуть горьковатый аромат черемухи. Она медленно обмотала его вокруг ладони, которой сжимала

рожок Пачтика. Тепло просочилось сквозь кожу — и ноги вдруг встали тверже. Магия? Нет. Просто мамин шарф. Тело помнило, как мать кутала ее в этот шарф перед первым школьным звонком, перед экзаменами, перед каждой трудной дорогой. Яна вспомнила, как мама называла сумерки: «Сутонь, дочка, время, когда все замирает и можно побыть собой».

Затем она достала сушку. Обычную, с маком, из того самого пакета. Она надела ее на мундштук рожка — кольцо вкуса на пути звука. Сушка была не просто едой, она была ритуальным предметом: ее дарили, ею делились, она означала «я о тебе помню». Пачтик, сам того не зная, научил ее этому.

Яна поднесла рожок к губам и начала шептать. Тихий голос, усиленный латунью, разрезал гул Бадюли, как скальпель.

— Сутонь — это не просто отсутствие солнца, — шептала она. — Это когда вишни в саду становятся одного цвета с вареньем в банке. Это когда туман ложится на озера так бережно, что неясно, где заканчивается вода и начинается небо…

С каждым словом пустой экран за ее спиной оживал. На нем вспыхивали кадры: немое ки-

но, старые хроники, чьи-то забытые детские воспоминания. Образы становились четкими, цветными, наполненными смыслом. Яна узнавала их — это были не фильмы. Это была память самого Глубокого: вечера на крыльце, девичьи песни у воды, прощальные взгляды, брошенные в полумраке. Экран показывал то, что бадюля пыталась стереть, но что продолжало жить в тысячах мелких жестов и привычек.

— Это время, когда можно не торопиться зажигать свет, потому что родные лица видны сердцем. Когда старые письма в шкатулках начинают пахнуть сильнее, чем днем, напоминая о тех, кто их ждал. Когда дети не боятся спать без лампы, потому что в сутоне все становится *утульным* — своим, теплым, обещающим покой.

Бадюля задрожала. Слова Яны она глотала, но они застревали — каждый звук как камень, как вишневая косточка. Она привыкла красть сухие имена из словарей, но была бессильна против живого дыхания памяти. Серая масса начала пульсировать хаотично, теряя форму. Из нее, как из разорванного мешка, посыпались обрывки фраз, обломки слов, недоговоренные предложения — все, что она украла за долгие годы.

Яна замолчала, но рожок не утих. Он начал

вибрировать в ее руках, накапливая энергию. И вдруг из него вырвался звук — но не трубный клич, а многоголосый хор. Тысячи голосов тех, кто когда-то писал «до востребования», кто ждал у окна в час суточного перехода, кто шептал ласковые слова на ушко в полумраке. Это было само Глубокое, заговорившее в полную силу.

Это многоголосие ударило в бадюлю ослепительным серебряным светом. Тьма лопнула, разлетелась на мелкие искры… и начала таять.

Когда последняя серая прядь растворилась в воздухе, на полу среди пыльных кресел сидел маленький серый котенок. Он испуганно моргал, чихал от пыли и пытался поймать лапой солнечный зайчик, который — впервые за эту весну — задержался в оконном проеме, превращаясь в долгожданный мягкий розовый вечер. Первая настоящая сутонь за много месяцев.

Яна опустилась на корточки. Котенок покосился на нее, фыркнул… и потерся носом о ее ботинок. Бадюля, питавшаяся тревогой, вернулась к самому началу. Стала маленьким, почти безобидным духом, которому нужен был не страх, а просто угол, где можно свернуться клубком. Она погладила его по мягкой шерсти и почувствовала, как под ладонью пульсирует слабое ровное

тепло, — совсем как тогда, в корчме, в графине деда Сысоя.

Она оставила его в кинотеатре. «Радуге» нужен был свой хранитель.

ФИНАЛ. ПОЧТА

Когда Яна вернулась на почту, туман над Глубоким уже окрасился в глубокий фиолетовый цвет. Настоящая сутонь вернулась, обнимая город за плечи, смягчая острые углы вечернего света, погружая улицы в уютную, чуть печальную сказку. Воздух стал гуще, наполненный запахами нагретой за день древесины и озерной прохлады.

Пачтик сидел на крыльце, обхватив лапами колени. Завидев Яну, он подпрыгнул, поправляя кепку, и бросился внутрь.

— Смотри! — прохрипел он, указывая на стеллажи.

Прозрачные мертвые конверты наполнились. Они потяжелели, разбухли, налились чернильной синевой. Некоторые были исписаны плотным, торопливым почерком, другие — каллиграфическим, с завитушками. Почтовое отделение гудело от веса смыслов. Пачтик осторожно взял один конверт, плотный и увесистый, приложил его к уху. С его лица исчезла привыч-

ная ворчливость.

— «…а я тебя жду, как сутонь, ни свет, ни тьма, только ты один в моих мыслях…» — прошептал он, услышав голос, пришедший из далекого города, написанный неизвестно когда, но все еще живой.

Пачтик шмыгнул носом, и по его серой щеке скатилась крупная слеза, затерявшись в бакенбардах.

— Пыльца, — буркнул он, поспешно отворачиваясь и делая вид, что очень занят сортировкой. — Совсем замучила эта аллергия весенняя. Всегда в это время года глаза на мокром месте.

Яна улыбнулась. Она положила на стойку рожок и пустой пакет из-под сушек.

— Значит, мы справились?

— Справились, панянка. — Пачтик важно кивнул, не оборачиваясь. — Ступай к тете Стефе. Она там пирог с вишней затеяла. Говорит, вкус у него сегодня по-особому глубокий. И… — Он запнулся, покосился на нее одним глазом. — Спасибо, что не забыла про сушки. Это было… профессионально.

ПИРОГ

В корчме «У Сымона» в тот вечер было по-особенному тихо. Туман за окнами окрасился в

розовый, и последние лучи заката — настоящего, долгожданного — дробились в пузатых графинах на подоконниках.

На столе стоял огромный пирог, источая пар с ароматом вишневой косточки. Тетя Стефа резала его широким ножом, и каждый кусок был тяжелым, настоящим. На столе появилось и блюдце с накрошенными сушками — для тех, кто предпочитал не высовываться из-под скатерти.

— Ешь, Яночка, — ласково сказала она. — Сегодня вкус у него правильный. Глубокий.

Яна откусила кусочек и замерла. Она чувствовала кислинку вишни, сладость июльского солнца, терпкость коры и даже легкую нотку озерного тумана. Способность чувствовать вкус *полно* вернулась вместе с сутонью. Мир перестал быть плоским чертежом. Она вдруг осознала, что ее диссертация не лжет: язык действительно формирует реальность. Но она упустила главное. Реальность формируется не грамматикой, а словами, которые мы произносим с любовью.

Под столом послышалось деликатное чавканье. Яна незаметно опустила руку и почувствовала, как маленькие лапки вцепились в предложенный ломтик. Пачтик, никогда прежде не покидавший почту, сидел в тени скатерти. Он

жмурился от удовольствия, и его маленькое сердечко стучало в унисон с ритмом города, который наконец-то снова мог называть вещи своими именами.

— Тетя Стефа, — спросила Яна, — а почему у пирога сегодня такой вкус?

Тетя Стефа вытерла руки о передник, посмотрела в окно, где медленно догорала розовая полоса.

— Потому что вишня, — сказала она просто. — Она ведь тоже помнит. Помнит, когда ее сажали, кто ее поливал, какие слова при этом говорили. А когда слова пропадают, и ягода мельчает. Но вот вернулось одно слово — и все сразу встало на свои места. И вкус, и цвет, и вечер.

Яна доела свой кусок, чувствуя, как тепло разливается по телу, заполняя те уголки, которые она сама не знала пустыми. Она посмотрела на Пачтика, который уже прикончил второй ломоть и теперь с достоинством облизывал лапу.

— Приезжай еще, — сказала тетя Стефа, собирая крошки. — К следующей весне у нас новый сорт поспеет. Я тебе такой пирог испеку, что ты про свою столицу на месяц забудешь.

— Обязательно, — пообещала Яна.

Пачтик под столом довольно крякнул и попросил добавки.

ЭПИЛОГ. ОТЪЕЗД

Автобус «Глубокое — Минск» прогревал двигатель, пуская в прозрачный утренний воздух сизые колечки дыма. Яна стояла у подножки, поправляя на плече сумку с диктофоном (который на удивление снова заработал сам собой, и теперь в его памяти хранилось не двадцать, а сорок с лишним часов живых говоров).

На перроне стоял Пачтик. Он выглядел почти щегольски в своей чистой кепке, и в лапах у него был сверток, перевязанный суровой ниткой.

— Это тебе, — буркнул он, протягивая сверток. — Памятка. Чтобы не забывала, куда возвращаться.

Яна развернула ткань. Внутри лежал толстый блокнот в кожаном переплете. На первой странице чьим-то корявым, но старательным почерком было выведено:

«Словарь туманов и забытых окончаний. Продолжение следует».

— Я буду приезжать, — сказала она. — Каждый полевой сезон. Обещаю.

— Ну-ну. — Пачтик нахлобучил кепку, пряча глаза. — Смотри, чтобы слова не засыхали в твоих карточках. Привози их обратно живыми.

Автобус тронулся. Яна прильнула к стеклу. Глубокое медленно уплывало назад — озера, костелы, старые липы. Проезжая мимо почты, она увидела на крыльце знакомую серую фигуру. Котенок-бадюля, уже заметно подросший и обретший четкие контуры, азартно гонял по доскам синий клубок ниток. Она больше не была помехой на экране, она стала частью этого уютного мира, его хранительницей, пусть и самой маленькой.

Пачтик все стоял на перроне, маленький, серый, с медной пуговицей на кепке, и смотрел вслед автобусу. Яна помахала ему. Он сделал вид, что не заметил, — и тут же, не выдержав, махнул в ответ.

Яна откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. В кармане лежал мамин шарф, а на языке все еще оставался привкус вишневого пирога. Она открыла новый блокнот на первой странице и вывела:

«Глубокое. Полевой сезон — первый. Спасенные слова: сутонь, баламутень, утульны… список будет пополняться. Правило № 1 работает. Правило № 2: никогда не забывай про сушки. Правило № 3: слова, которые ты спас, становятся твоими навсегда».

За окном расцветало утро. Золотые отблески на

костелах и длинные тени. Сутонь вернется вечером — и тогда снова письма, крыльцо, тот самый пирог. А маленький серый анчутка поправит кепку и будет смотреть на дорогу.

Дарья Соловей. Лесин край



Дарья Соловей

Лесин край

Внучки гаюна, или гаевого деда, – зовут их гаевками. Эти покровительницы лесных зверей и птиц на зиму обрастали белой шерстью, а весной ее сбрасывали, обращаясь прекрасными девами. По преданиям, в Купальскую ночь они выходили из леса, чтобы посмотреть на костер, зажженный людьми.

— С ума сошел? Арсений, четыре утра! Какой лес? — голос Макса в динамике звучал хрипло. Еще бы, в последний раз он просыпался так рано… Никогда.

Арсений прижал телефон плечом к уху и, прищурившись, вгляделся в дорогу. Старенький кроссовер мягко подпрыгивал на разбитом асфальте, а свет фар выхватывал из темноты проносящиеся мимо поля и леса.

— Погода отличная для съемки, я сорвался. Еду к лесному озеру, на рассвете буду на месте.

— Туда, в заказник, что ли? Ну ты даешь! Там же комары с кулак и ни одного фонаря на десять километров…

Арсений улыбнулся, не отрывая глаз от дороги.

— А я не фонари еду смотреть, а на рассвет. Разница есть. — Арсений крутанул руль, объезжая

очередную глубокую выбоину. — Мне нужны кадры для выставки, понимаешь? Не вылизанные парки и пляж с шашлыками на Минском, а дичь.

— Вот именно дичь, Сеня! Дичь — срываться ночью в лес, где можно в первой же колее увязнуть, или на кабанов нарваться, или, чего лучше, на браконьеров!

— Никто там не шастает, не выдумывай. Там въезд запрещен. Я машину на дороге оставлю, а сам пешком, козьими тропами, с рюкзачком. Через час к рассвету как раз на месте буду, — голос Арсения вдруг стал тише. — Только представь: нетронутая природа, озеро, камыши, вода черная, сосны вековые… И туман стелется. Прямо по воде, низко-низко…

Арсений замолчал на несколько секунд, уже представляя тот самый кадр: первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь дымку, ровная зеркальная гладь, в которой отражаются вершины сосен, и ни души вокруг. Никого.

— Эй, фотограф-романтик! — голос Макса вернул его в реальность. — Ты там уснул, что ли?

— В общем, — встрепенулся Арсений, возвращая внимание на дорогу. — Сделаю пару кадров на рассвете, пока туман не сошел, и до вечера буду в Минске. Клянусь, даже ноги не промочу.

— Ну смотри, — вздохнул Макс. — Если к вечеру не отпишешься, я лично подниму всех на уши.

— Все, тебя плохо слышно, бип-бип. До вечера, мамочка! — расхохотался Арсений и остановил автомобиль около потертого знака, запрещающего въезд на территорию заказника.

Тьма тут же придвинулась вплотную к стеклам. Арсений вышел и завороженно вдохнул колючий, пахнущий хвоей воздух. Поправив лямки тяжелого рюкзака, он шагнул на мягкий мох и двинулся в гущу леса, сверяясь с навигатором и подсвечивая путь фонариком от телефона.

Буквально на миг его кольнула тревога, посеянная словами друга, но виднеющаяся впереди полоска светлеющего неба заставила тут же забыть об этом. Никак нельзя было опоздать на рассвет.

Арсений брел по тропе, наслаждаясь тихими звуками леса и холодным чистым воздухом. От него с непривычки немного кружилась голова, а по телу после жаркой печки автомобиля пробегала легкая дрожь. Вскоре лес расступился, и фотограф вышел к глухой стене камыша и рогоза, которая возвышалась над ним на целую голову.

Он не раз изучал карту местности и знал: само озеро — это огромные затопленные торфоразра-

ботки. А вокруг болото. Но именно здесь можно было поймать ту самую первозданную природную красоту, которую он искал для выставки.

Небо окрасилось в жемчужно-серый предрассветный цвет, и Арсений выключил фонарик. Он поправил лямки тяжелого рюкзака и ускорил шаг. Найти бы прогал пошире, с видом на озеро… И выбрать точку съемки.

Внезапно почва под ногами качнулась, и Арсений ступил в скрытую в траве ледяную лужу. Вода моментально просочилась сквозь швы ботинка, обжигая ступню холодом.

— Вот же!.. — с досадой пробормотал он, а потом хихикнул, вспомнив, о чем говорил другу. — И часа не прошло.

Арсений упрямо двинулся дальше, не обращая внимания на хлюпанье в ботинке. Он забыл о нем в ту же секунду, как заросли поредели и перед ним открылось широкое пространство черного озера. Над ним белыми клубами стелился туман, из его призрачной дымки вырастали голые стволы подтопленных берез.

— Ух ты, — выдохнул Арсений шепотом.

Он быстро сбросил рюкзак, достал камеру и начал настраивать. В ушах стояла звенящая тишина, которую не нарушало даже пение птиц.

Арсений увидел широкий плоский камень у кромки воды, устроился на нем и взглянул в объектив камеры. Мир вокруг тут же преобразился, и он принялся за дело.

Арсений то долго вымерял ракурс для одного кадра, то лихорадочно жал на кнопку, боясь упустить каждое движение тумана над озером. Рассвет разгорался. Первые солнечные лучи упали на воду, пробившись сквозь ветви деревьев, и все вокруг озарилось золотым светом. Арсений жадно менял объективы и щелкал затвором, полностью забывшись в любимой работе. Время перестало существовать, как и мокрая нога… Его волновала только эта завораживающая красота.

Сделав еще несколько кадров, Арсений опустил камеру. Он поднял голову к небу, глубоко удовлетворенно вздохнул, широко улыбнулся и вновь окинул взглядом озеро.

И вдруг замер.

На противоположном берегу у кромки воды неподвижно стояла… Девушка? Она заметно выделялась в окружающем пейзаже: светлое платье на фоне черной воды и темной стены леса.

От неожиданности Арсений дернулся, потерял равновесие и с размаху ступил по щиколотку в ледяную воду сухим ботинком.

— Черт, — процедил он сквозь зубы, вовремя подхватив камеру, чтобы и та не промокла.

Он поспешно поднял голову, чтобы снова взглянуть на девушку, но она исчезла. Словно ее и не было вовсе.

Арсений замер и даже потер глаза, но противоположный берег был пуст. Он тут же начал проматывать снимки, взволнованно щелкая кнопкой. Кадры сменяли друг друга, и он почти отчаялся, когда на последнем снимке в тумане внезапно увидел ее силуэт. Затем поднял взгляд от камеры и взглянул на противоположный берег. Никого. Снова уставился в экран фотоаппарата — девушка оставалась на месте.

Арсений быстро собрал вещи, накинул рюкзак и двинулся вдоль берега. Вода в ботинках неприятно чавкала, и этот звук казался ему слишком громким даже на фоне утреннего шума леса. Внезапно заросли камыша вновь окружили Арсения и скрыли от него гладь озера.

Он почти бежал, будто встреча с этой девушкой была важнее всех снимков, выставки, всего, что он делал до этого. Что-то глубоко внутри толкало его вперед, заставляло перепрыгивать через коряги и не замечать ничего вокруг. Ему просто нужно было ее увидеть. Убедиться, что она насто-

ящая и он не сошел с ума в этой глуши.

Он почти обогнул озеро, когда заросли начали редеть. Арсений ускорился, предвкушая, что еще немного — и он выйдет на то самое место, где видел загадочный силуэт.

Осталось совсем чуть-чуть…

И в этот момент громкий резкий выстрел эхом раскатился над озером, многократно отражаясь от воды и стены леса.

Арсений почувствовал необъяснимое сотрясение где-то внутри. Он согнулся, пытаясь зачерпнуть ртом воздух, но грудную клетку сковало тугим обручем.

Он тут же вспомнил, что сказал Максу. Никто там не шастает? Ну да, конечно.

Мир вокруг него почернел, и Арсений перестал понимать, где находится. Все, что осталось, — горький ком в горле и отголосок вспышки страха, которая электрическим разрядом пронеслась по всему телу. Неужели он действительно может не выбраться из леса?

А затем так же внезапно, как погас, свет вернулся. Мир стоял на месте. Ничего не изменилось.

В нос ударил кислый запах гнилой воды и прелого торфа. Арсений встряхнул головой, огляделся вокруг и понял, что стоит на четвереньках

в грязи. Он тяжело дышал и совсем не помнил, как оказался на земле. Дыхание никак не выравнивалось, в ушах стоял звон от выстрела, сквозь который настойчиво пробивался шум леса.

Арсений попытался встать, но ноги не слушались — они вязли в грязи, все дальше и дальше погружаясь в трясину. Каждая попытка сделать хотя бы одно движение давалась титаническим трудом. Тело казалось чужим, тяжелым и непослушным. Почти обессилев, Арсений завалился на бок и почувствовал, как холодная вода обступает его со всех сторон.

И вдруг он увидел ее.

Она стояла совсем рядом и смотрела прямо ему в глаза. Светлое льняное платье, длинные русые волосы, бледное лицо в россыпи веснушек. Вблизи она казалась еще более нереальной.

Девушка быстро подошла к Арсению и упала рядом с ним на колени. В ее больших зеленых глазах билась тревога.

— Как же так, миленький? — тихо произнесла она, проведя рукой по его волосам.

Голос прозвучал мягко, но где-то далеко-далеко, словно сквозь толщу воды.

— Помоги! — протяжно прошептал Арсений, и черная гладь сомкнулась над его головой.

— Зря ты это, Леська. Ой зря, — где-то за пеленой белого шума сердито бормотал незнакомый женский голос.

— Тсс, тетя Ганя, услышит же, — донесся тихий шепот.

— Не наш он, и делать ему тут нечего.

— А что мне было делать? — упрямо не унимался шепот. — Он там у воды загибался. Стоять и смотреть, как душа улетает, а тело в трясину уходит? Не могу я так… Природа не позволяет.

— Хм, природа… — буркнула Ганя. — Ой, пожалеешь, Леська. Попомни мое слово.

Арсений попытался поднять голову, но она раскалывалась, будто внутри сидел маленький трудолюбивый каменщик и долбил киркой по вискам. Парень поморщился и уронил голову обратно на мягкую подушку. А затем медленно открыл один глаз.

За легкой белой дымкой он увидел знакомое лицо — та самая девушка из леса.

Значит, вот она — Ле-е-е-е-ся. Он, смакуя, мысленно протянул имя, пока она осторожно присаживалась рядом. Девушка с тревогой взглянула на него своими большими зелеными глазами. И Арсений застыл. Он не мог произнести ни слова. Как говорят? Дар речи потерял? Он не мог отвести

от нее взгляд и только почувствовал, как теплая ладонь осторожно легла на его лоб.

Девушка медленно удовлетворенно вздохнула, прикрыв на секунду глаза.

— Ну и напугал же ты меня, миленький, — мягко произнесла она, и Арсений подумал, что никогда в жизни не слышал такого нежного и приятного голоса. — Я уж боялась, что не смогу тебя выходить. Совсем плох был.

Арсений завороженно смотрел… В зеленые глаза с ореховыми вкраплениями, что придавало им цвет прелой травы. На еле заметные веснушки, россыпью лежащие на лице девушки. На растрепанные русые волосы, в которых запутались маленькие веточки и еловые иголки.

Заметив его взгляд, девушка встрепенулась и быстро поднялась на ноги.

— Я тебе отвар принесу. Еще лучше станет, вот увидишь. — Она широко улыбнулась, и Арсений заметил на ее лице легкий румянец.

Он с трудом улыбнулся в ответ, и девушка быстро скрылась за цветастой тканой занавеской. Арсений облегченно прикрыл глаза и медленно выдохнул. Он даже не заметил, что до этого не дышал. Наверное, боялся спугнуть этот сладкий сон.

Он медленно повел рукой по льняной простыне, осторожно вытянул затекшую ногу и с размаху впечатался голой ступней во что-то жесткое и очень холодное. Не сон!

Резко дернувшись, Арсений попытался сесть и тут же схватился за виски. Маленький каменщик знал свое дело.

— Твою же…

Сознание медленно возвращалось, забрасывая Арсения вопросами. Где я? Что со мной? Что с выставкой? Сколько я уже здесь? Что это за место? Туман в голове не давал сосредоточиться на одной мысли.

Кто эта девушка?

Он помнил, как она склонилась над ним в лесу и что-то говорила. Красивая… В ней было что-то такое, отчего в груди разгорался яркий огонек, который наполнял его теплом.

Согласится ли она пойти со мной на свидание?

Он широко улыбнулся от этой мысли и уставился в деревянный потолок.

— Чего улыбаешься? — произнесла Леся, склонив в сторону голову. В руках она держала кружку, от которой вился пар.

— Ничего, — ответил он хриплым голосом. — Просто… потолок у вас красивый.

Леся посмотрела наверх и рассмеялась.

— Ну да, красивый. Бревна, щели… — Она протянула Арсению кружку. — На вот, выпей отвар. От него боль пройдет и силы вернутся.

Он покорно сделал глоток. Как только отвар попал на язык, в груди защемило от тоски. Насыщенный аромат малины, мяты и лесных трав мгновенно затянул его в детские воспоминания: бабушкины блины с мачанкой в деревне, монотонное бормотание радио, теплая печь и легкий запах горящих поленьев, чай из веточек малины, тот самый, с медом, который лечил от всех болезней, а еще вечера в обнимку за просмотром мелодрам… Они казались маленькому Арсению такими скучными с их глупыми признаниями в любви и наигранными слезами. Но бабушка их так любила, а он любил ее.

— Как тебя зовут? — тихо спросила девушка, присаживаясь на скамью у стены и притянув к себе ноги. Она накрыла их подолом платья, обвила колени руками и положила на них голову.

— Арсений.

— Арсений, — повторила она. — Выходит, Сеня?

Он чуть улыбнулся и кивнул.

— А меня…

— Леся, — опередил ее Арсений, глупо улыбнувшись, совсем как мальчишка. — Красивое имя.

Вдруг бешеный поток мыслей снова хлынул в сознание, и его кольнула тревога.

— А где мой фотоаппарат? А еще я слышал выстрел… Кто-нибудь пострадал? Что со мной случилось? Почему я здесь? У меня выставка завтра. Я не могу вот так лежать. Мне в Минск надо, — судорожно выпалил он.

— Аппарат вон на столе лежит. Его вместе с рюкзаком мальчишки с озера принесли, — произнесла спокойно девушка, пожав плечами. — А ты совсем не помнишь?

Арсений покачал головой и допил отвар.

— Там, у озера, я нашла тебя тонущим в болоте. Я помогла выбраться, но ты воды нахлебался, не понимал ничего, и мне пришлось привести тебя сюда. А теперь тебе нужно отдохнуть, и тогда можно в Минск ехать.

Он почувствовал, как его снова одолевает усталость и клонит в сон. Где же обещанный прилив сил? Он посмотрел на девушку, которая все так же сидела на скамье и печально смотрела ему в глаза, положив голову на колени.

— А выстрел?

— Не волнуйся об этом. Все позади.

Леся поднялась со скамьи, взяла из его рук кружку и склонилась над его лицом. Русые волосы рассыпались по плечам, и Арсения окутало легким ароматом хвои. Девушка пристально посмотрела в глаза и толкнула его голову на подушку.

— А теперь, Сеня, засыпай.

Последнее слово прозвучало с такой силой, что тело разом обмякло. Арсений дернулся было что-то сказать, но глаза закрылись сами собой, и он погрузился в сон.

Он бродил по бескрайнему пространству, а вокруг то и дело вспыхивали эпизоды его прошлой жизни, планы на будущее, громкие цели и недосягаемые мечты… Время от времени он открывал глаза и видел рядом Лесю. Она подносила ему кружку с уже знакомым отваром.

— Выпей.

Он покорно делал несколько глотков.

— А теперь спи.

И он снова провалился в необъятную бездну сна и разглядывал яркие картинки своей жизни: Макс, разбитая дорога, выставка, лес, выстрел, зеленые глаза, Леся…

— Выпей… — слышал он ее голос во время пробуждения. — Спи.

И снова: Макс, выставка, выстрел, зеленые глаза, Леся…

— Выпей… Спи.

Выстрел, зеленые глаза, Леся…

— Выпей… Спи.

Арсений в отчаянии тянулся за ускользающими воспоминаниями, но они бесследно пропадали в пустоте. Он не знал, сколько это продолжалось. Два, три раза, может, сто.

Пока в памяти не остались лишь: зеленые глаза — Леся.

А потом наступило утро.

Арсений очнулся и глубоко вдохнул нежный аромат свежевыпеченного хлеба и вареного картофеля. Голова была пустой, ясной и легкой, а тело наполнено силой. Ему хотелось вскочить с кровати, куда-то бежать, что-то делать.

Внутри слабо билось тревожное чувство. Так бывает, когда кажется, что что-то забыл, но не помнишь, что именно. Арсений быстро отмахнулся от него и поймал другое: дом, в котором он находился, казался совсем родным, будто он всегда тут жил.

Занавеска отодвинулась, и в комнату вошла Леся. Она замерла в проеме, окинула его взглядом и расплылась в улыбке.

— Тебе лучше! Я так рада! — воскликнула она с довольным видом. — Вставай, пойдем я тебя со всеми познакомлю. Они давно ждут.

— С удовольствием, — сказал он и взял ее за руку. — Веди меня, красавица.

Солнце стояло высоко в небе. Привыкший к тусклому свету, Арсений на секунду зажмурился, когда яркие лучи ударили ему в глаза. На улице было уже по-летнему тепло, но воздух был таким свежим, что, казалось, до этого он и не дышал вовсе.

— Лесом пахнет…

— Так он ведь тут кругом, — улыбнулась Леся. — У нас деревня небольшая. Одна улица на четыре десятка домов, и все прямо посреди леса. А мой как раз у самой кромки. Не бывал в таких местах?

Арсений покачал головой и надел на шею фотоаппарат.

Он заметил его на столе, выходя из комнаты. Рука сама потянулась к технике, и, как только он провел пальцами по корпусу, ощутил тепло и необъяснимое чувство родства.

Теперь Арсений мягко проводил по нему пальцами, пока стоял на крыльце и оглядывал двор по сторонам. Он был совсем небольшой. От порога

к калитке вел дощатый настил, вдоль которого тянулся невысокий деревянный забор с глиняными горшками. За ним ютился небольшой огород и молодые яблони, которые уже пустили первую листву. А у самого крыльца кустилась сирень.

Арсений сделал несколько снимков и посмотрел на результат. Руки все сделали сами, будто он всю жизнь фотографировал.

Он радостно обернулся, чтобы поделиться этим с Лесей, и наткнулся на ее пристальный взгляд. Он не стал разбираться, просто любовался ею. Осознав это, быстро отвел глаза и продолжил рассматривать двор. К дому вплотную прилегал хлев, из него не раздавалось ни звука.

— А что, живность не держишь? — спросил Арсений, кивнув в сторону постройки.

Леся чуть помедлила, собиралась с мыслями.

— Нет. Тяжело мне… запирать кого-то, — ответила она с едва заметной грустью.

А после, будто силой скинув с себя печаль, схватила Арсения за руку и потащила к калитке.

— Ну что же ты стоишь, пойдем! Здесь все свои.

За пределами двора стоял монотонный гул: кудахтали куры, где-то в поле за домами перекликались мужские голоса, во дворах визжали дети,

на которых то и дело покрикивали женщины.

Леся шла рядом, держа Арсения за руку. Она вся светилась изнутри. А он при одном только взгляде на нее сразу становился стыдливым мальчишкой, забывал дышать и вспоминал об этом только тогда, когда начинала слегка кружиться голова. Но он не мог ничего поделать, хотел смотреть только на нее, слушать только ее голос, прикоснуться к ее волосам…

Из грез его вырвал хлесткий звук мокрой ткани и упавшая на лицо прохладная изморось.

— Тетя Ганя, смотри, кого я привела! — воскликнула Леся.

Крупная женщина в цветастой косынке встряхивала и развешивала на веревке чистое белье. Арсения она окинула изучающим взглядом, от которого ему вдруг захотелось поправить футболку и пригладить волосы.

— Ну что, очухался, пришелец? — спросила она и уперла кулаки в бока.

— Да, — улыбнулся Арсений. — Я слышал, вы заходили. Спасибо вам.

— А мне-то за что? Это вот ее благодари, — махнула она головой на Лесю и посмотрела на нее с материнской теплотой. — Она у нас… беспокойная. Больно добрая. Скот выхаживает, живность

больную из лесу тащит, птиц раненых подбирает. Подлечит и отпускает, — наигранно строго произнесла тетя Ганя, а потом громко рассмеялась. — Теперь вот на людей перешла… Так что не обижай ее! У нас вся деревня за нее горой.

— Ни за что! — серьезно ответил Арсений.

Леся с благодарностью посмотрела на женщину, чмокнула ее в щеку и потянула Арсения дальше.

На крыльце дома напротив сидела бабушка, чистила картошку и напевала что-то себе под нос. Двое мужиков, по пояс голые, подбивали колья в заборе и о чем-то глухо спорили. Малышня носилась из двора во двор, махая Лесе измазанными ручками.

Арсений щелкал фотоаппаратом, стараясь запечатлеть как можно больше полных жизни моментов.

Около одного из дворов на старой лавочке под березой сидел дед. Он жилистыми руками ловко сплетал ветви лозы в большую корзину и что-то тихо бормотал.

— Дедушка Кондрат, здравствуйте, — громко сказала Леся, хотя стояла совсем рядом.

— И тебе, дочка, — прогудел Кондрат, не поднимая головы.

Арсений опустился на корточки и сделал несколько кадров, ловя движения рук мастера.

— А это твой, что ль, утопленник? — спросил он Лесю, кинув на парня взгляд светлых глаз.

— Мой, — просто ответила Леся.

И от этого короткого слова у Арсения появилась глупая улыбка и румянец на щеках. Он вдруг так остро захотел, чтобы так и было. Чтобы он был и правда ее.

— А Ганька-то уже хай подняла: «Чужого притащила!» — усмехнулся дед. — А какой он чужой? Если Леська привела, значит, свой.

— Сеня его зовут, — с улыбкой сказала Леся. — Мы пойдем, дедушка. Все ему показать хочу. Еще заглянем к тебе.

— Идите-идите, дело-то молодое, — отмахнулся дед и продолжил свою работу.

Леся поглядела на Кондрата с теплой нежностью, а затем потащила Арсения дальше.

У последнего дома их встретила молодая пара. Широкоплечий парень со светлыми волосами обнимал за талию круглолицую темноволосую девушку.

— Эй, Леська, мы уже заждались, когда ты своего болезного нам покажешь! — весело крикнул парень, а затем протянул Арсению руку. — Саша.

А это, — он с гордостью прижал к себе девушку, — невеста моя, Оля.

— Свадьба у нас скоро! — звонко выпалила девушка и с любопытством начала разглядывать Арсения. — Ну, ничего такой, — подмигнув, прошептала она Лесе. — Глазищи-то какие! Ты, Леська, его по деревне одного не пускай, а то наши девки быстро растащат по кусочкам.

Леся засмеялась и легонько толкнула Олю локтем в бок.

— Приходи к нам на свадьбу, — уже серьезно сказал Саша, хлопнув Арсения по плечу. — Всей деревней гулять будем.

— Обязательно приду, — искренне ответил Арсений. А потом глянул на Лесю и добавил: — Придем.

Внутри было на удивление спокойно и правильно — так, будто он наконец-то оказался на своем месте. Дома.

День пролетел незаметно. А потом еще один. И еще. И еще.

Арсений совсем их не считал. Ему было так легко и свободно с этими людьми, словно он знал их всю жизнь. А главное — рядом всегда была Леся. Он видел, как она украдкой любуется им и как теплеют ее глаза, когда они сталкиваются

взглядами. Ему лишь хотелось быть ближе, слышать ее смех и чувствовать тепло ее руки. В этом и был весь его мир.

День свадьбы Саши и Оли выдался чистым и ясным.

Еще с вечера во дворе сдвинули тяжелые столы, а к празднику на них понесли угощения из каждого дома: горшки с бабкой и жареной курицей, горы пирожков с капустой и грибами. Рядом с кольцами домашней колбасы появились нарезанная полендвица и соленья в глубоких мисках. Конечно, не обошлось и без крепкого домашнего припаса — женщины расставляли его по столам, строго поглядывая на мужиков. А в самом центре на почетном месте возвышался пышный каравай, который тетя Ганя испекла еще затемно.

Гуляла вся деревня. Дети с визгом носились вокруг столов, пока Саша и Оля ели яичницу одной ложкой и принимали поздравления. Женщины тайком утирали слезы, когда Оле надевали платок. А девушки умилялись, глядя, как молодые весь день держатся за руки. И ведь ни разу не разжали.

К вечеру дед Кондрат достал старую гармонь и начал наигрывать любимые мелодии.

Двор наполнился танцующими. Леся выско-

чила одной из первых и закружилась в самом центре, такая легкая и живая.

Арсений сидел за столом под строгим взором тети Гани и как мог старался казаться безучастным. Но его взгляд неотрывно следовал за Лесей. Внутри неприятно покалывало каждый раз, когда кто-то из деревенских парней перехватывал ее или приобнимал за талию в танце.

А когда раскрасневшаяся и такая счастливая Леся подлетела к нему и потянула танцевать, Арсений совсем растерялся. Он неуверенно топтался рядом, держа ее за руки и пытаясь поймать ритм. После неудачных попыток успеть за смеющейся Лесей, Арсений плюнул на все и начал двигаться как получается, невпопад. Зато с удовольствием. А еще его постоянно отвлекали ее зеленые глаза и веснушки на лице.

«Поцелованная солнцем… Поцелованная…» — пронеслось в голове.

Взгляд невольно задержался на нежных розовых губах девушки. Арсений сглотнул подступивший к горлу ком и, подняв глаза, наткнулся на ее сияющие глаза. Леся, чуть сведя брови, ловила его взгляд. Арсений подался вперед и неуверенно потянулся к ее губам, и в этот момент громкий голос деда Кондрата прервал тишину.

— А ну, идите все сюда! Детишки сказку просили!

Девушка смущенно засмеялась и уткнулась лбом в грудь Арсения.

— Может, костер разожжем? Посидим у огня? — спросил он.

Но Леся, мягко коснувшись его руки, покачала головой.

— Нельзя, Сеня. Лес огня не любит. Он… живой.

— И то верно, — оживился дед Кондрат. Он поправил седые усы и уставился в сторону чернеющей лесной стены. — Лес, он же память хранит. Вы, молодежь, думаете, что в лесу одни елки, мох, звери да птицы? — Он пробежался взглядом по детишкам, которые жадно слушали его рассказ, а потом посмотрел на Арсения, и в его глазах заплясали лукавые искорки. — Раньше, парень, тут каждый овраг и каждую поляну кто-то охранял. Вон, за полем, у старого дуба лесовик жил. Зверя стерег, за порядком следил. В чаще у болота русалки водились. Путали тропы так, что за грибами не сходи. Багник в омутах сидел, вужалки по ночам на ветвях качались. В мире с нами жили. — Дед поднял палец. — Кто к лесу с добром, так и он к тебе. На страже они стояли, понимаешь?

Арсений завороженно слушал рассказ, глядя

на чернеющую стену леса, и чувствовал, как по спине бежит легкий холодок.

— А щас, — дед махнул рукой и вздохнул, — щас нет никого. Ушли. Одна гаевка осталась…

— Кондрат! — вскрикнула тетя Ганя. Она сердито толкнула деда в плечо и взглянула на Арсения и Лесю. В ее глазах мелькнула тревога. — Иди-ка ты спать, вон уже всех детей запугал, они ж теперь точно спать до утра не лягут, голову дурить будут.

— А что? — обиженно забубнил дед, поднимаясь. — Я правду говорю. Были, и все тут. — Он бросил быстрый взгляд на Лесю, которая сидела очень тихо, опустив голову, и запнулся. — Ладно, пойду я.

Компания начала потихоньку расходиться: уставшие и довольные деревенские побрели по домам, распевая песни и унося с собой остатки угощений.

— Пойдем, — тихо сказала Арсению Леся. — Я хочу тебе кое-что показать.

Она взяла его за руку, и они пошли к ее дому. А у крыльца стояла тетя Ганя и смотрела в их сторону, молча покачивая головой.

Леся вывела его на полукруглую прогалину, которая вплотную прилегала к ее двору. По дуге

это место обступала стена леса, и казалось, что они полностью отгорожены от всего мира. Ни деревни, ни домов, ни единого намека на других людей.

Высоко в небе висела полная луна, она ярко освещала поляну, хоть каждую травинку разглядывай. Арсений никак не мог понять, как за все дни, проведенные в деревне, он не заметил этого места и ни разу здесь не бывал.

Леся сняла сандалии и босая пошла к центру поляны. Она присела прямо на траву и подозвала Арсения. Он тут же сбросил обувь и медленно пошел к девушке, тянувшей его невидимой нитью.

Трава под ногами мягко обволакивала его босые ступни и казалась бархатистой. Удивительно, ее совсем не касалась ночная изморось, она была теплой и сухой.

— Посиди со мной, — тихо произнесла Леся, похлопывая место рядом с собой. — Сейчас начнется.

Арсений уселся рядом, со вздохом облегчения вытянул уставшие ноги и откинул голову назад. А затем ахнул: прямо над поляной широкой светящейся лентой раскинулся Млечный Путь.

— Красиво, — выдохнул он. — Здесь всегда так?

— Здесь всегда по-разному, — тихо ответила она.

Арсений повернул голову и с легкой улыбкой посмотрел на девушку. Она медленно легла на траву, не сводя глаз с неба. Как он жил без нее? Как проводил дни? Было ли в его мире что-то, что вызывало такой же трепет в груди, такое же желание жить, действовать и сворачивать горы? Был ли кто-то, кому хотелось каждый день доказывать, что он действительно достоин?

Тревожное чувство резко кольнуло Арсения в грудь. Он не помнил. Ни единого дня своей жизни. Была только деревня, этот лес и она. Всегда была только ОНА.

— Смотри, — вдруг сказала Леся, указывая рукой вверх. — Первая.

Арсений проследил за ее пальцем и успел мельком заметить проблеск падающей звезды. А затем в небе начали появляться все новые и новые звездочки, которые прорезали гладь неба и скрывались за деревьями.

— Звездопад, — с восторгом воскликнул Арсений.

— Каждый год в августе. Самая яркая ночь, — прошептала она.

В августе… А ведь совсем недавно, всего несколь-

ко дней назад, цвела сирень. Сколько времени он провел здесь? Неужели он так забылся? С тревожным холодом внутри Арсений понял, что даже не знает, кто он. И его это не пугает. Есть лишь легкое беспокойство и огромное любопытство, а их можно отложить до завтра.

Завтра он непременно начнет разбираться. Завтра спросит у Леси, у тети Гани, сколько же дней он провел в деревне. Завтра попытается восстановить в памяти хоть что-то из своей прошлой жизни. Всё завтра.

А сейчас рядом с ним лежала девушка. И Арсений осознал: если она сейчас встанет и уйдет, то мир распадется на кусочки, и даже весь Млечный путь погаснет. Откинувшись на траву, он почувствовал, как его пальцы коснулась ее ладони. И он просто лежал, запоминая каждую секунду этого момента: звездное небо и тепло ее руки рядом.

— Здесь так хорошо, — выдохнул Арсений. — И совсем не страшно, сколько бы дед Кондрат ни пугал лесовиками да гаевками.

— А он ведь правду говорил, лес у нас живой. Я знаю легенду про гаевку, о которой говорил дедушка, — с нежной улыбкой произнесла Леся, все еще глядя в небо, пока ее пальцы нервно теребили траву.

— Расскажи, — с неподдельным интересом попросил он.

Леся на секунду смутилась и прижала руку к груди, как будто хотела успокоить тревожное сердце.

— Ладно, тогда слушай, — прошептала она. — Очень-очень давно жила в деревне девушка. Была она единственной дочерью, родители в ней души не чаяли. И умом, и статью, и красотой выделялась она среди подруг. Все парни за ней вились. А какая добрая была. Любила лес, зверье, знала каждую тропинку и полянку. И вот однажды… — Леся замолчала, чтобы сглотнуть ком. — Пошла она за травами и пропала. Хоть и знала каждый кустик в лесу, заблудилась и не смогла найти дорогу домой. А ночью забрела в болото. Там и осталась, затянула ее трясина…

Арсений почувствовал, как ледяной холод черной воды обволакивает его и смыкается над головой. Воспоминание возникло так резко, что у него бешено заколотилось сердце. Он несколько раз отрывисто вздохнул, убеждая себя, что опасности нет и он дышит.

Леся продолжала. Голос ее звучал тихо и ровно, а тело то и дело била мелкая дрожь. Может, замерзла? Его ладонь невольно сжала ее пальцы, и

Леся прильнула ближе.

— А потом девушка очнулась живая и невредимая. Выбралась из болота и отправилась искать путь домой. Долго брела она, плутала, будто сам лес водил кругами и неизвестными тропами. И вдруг вышла к своей деревне. Обрадовалась она, думала, сейчас родных обнимет, успокоит их, что жива-здорова. Да только не узнала она деревню: дом*а* другие, люди чужие. Больше ста лет прошло, Сеня. Долго ее не было. И ни родных, ни подруг — никого не осталось.

— Как это — больше ста лет? — не выдержал Арсений, чувствуя, как сердце колотится еще быстрее.

А Леся лишь взглянула на него, не ответив на вопрос, и продолжила.

— Ее приютили местные жители, — голос ее зазвучал с теплотой и нежностью. — Добрые люди. Она и сама их полюбила и стала считать своей семьей. Ухаживала за скотиной, за больными зверьми. А к первой зиме… — Леся на секунду замолчала, а затем глубоко вздохнула и продолжила: — Ее тело начало меняться. Стало покрываться мягким белым мехом. И даже тогда жители деревни ее не испугались, не прогнали, наоборот, успокоили и сказали, что она своя в

деревне. А то, что природа у нее иная, так это не важно. Важно, что сердце родное.

— Как же это так случилось, что она знала лес и заблудилась? — не мог понять Арсений.

— Деревенские долго думали… И тогда старожилы вспомнили все легенды, что от предков слышали, и поняли, что так лес принял ее добрую душу. Потому навел на нее морок, запутал, да и сделал своей хранительницей. Гаевкой.

Леся замолчала, повернула голову и посмотрела на Арсения.

— Многие не верят, — сказала она, глядя ему прямо в глаза. — Говорят — сказки. А ты веришь?

Раньше он бы сказал «нет». Но этот лес, люди в деревне… Казалось, если кто и мог подружиться с духом леса, то они.

— Верю, — медленно сказал Арсений. — А ты сама видела ее? — спросил он и медленно повернулся на бок, подложив руку под голову. В лунном свете лицо Леси казалось ему почти прозрачным.

— Мне Ганя рассказывала, — кивнула девушка, и ее голос дрогнул. — Много лет назад это было… Так что не бойся ты хранителей леса. Я с детства слышала все эти байки про лесовиков, багников да гаевок. И что сторониться их надо, и что в лес

одной нельзя ходить, и что запутают, уведут, утащат… А настоящая беда, — ее губы дрогнули, и он увидел, как по щеке скатилась еще одна слеза, — она не из леса приходит, а с ружьем.

— Леся, — отчаянно прошептал Арсений.

Она отвернулась, быстро смахнула слезы тыльной стороной ладони и снова посмотрела на Арсения. Ее большие зеленые глаза блестели в темноте, а на губах играла чуть виноватая улыбка.

— Ты не смотришь на звезды, — заметила она.

— Смотрю, — тихо ответил он. — На одну. Самую яркую. За ней не видно ничего.

Леся грустно улыбнулась.

— А загадывать желания? Говорят, на падающую звезду надо. А их вон сколько, загадывай!

— А я уже загадал, — произнес он и, привстав на локте, потянулся к ней.

Леся смотрела в упор и сама подалась вперед за секунду до того, как их губы встретились.

Ее пальцы мягко обхватили его предплечья, они гладили, притягивали и медленно поднимались. Губы девушки были теплыми и нежными, и они отвечали ему, будто она всю жизнь ждала именно этого момента. Арсений не мог знать наверняка, но абсолютно был уверен в одном: он

грезил об этом с той секунды, как увидел ее после затяжного сна.

Арсений прижался к Лесе и провел ладонью по спине, чувствуя тепло ее тела сквозь тонкую ткань платья. Девушка запустила пальцы в его волосы и прильнула еще ближе, а потом замерла. Губы перестали двигаться, а пальцы на затылке медленно обмякли. Арсений открыл глаза, и его накрыла тревога. Девушка смотрела на него огромными глазами, как будто видела в первый раз.

Она резко поднялась и прижала пальцы к губам, а затем в немом ужасе закрыла рот руками.

— Что же я натворила? — прошептала она, глядя на Арсения дрожащими глазами. — Что наделала?! — Казалось, она разговаривает сама с собой.

— Леся? Что такое? — в панике проговорил Арсений и двинулся было к ней, но она сделала несколько шагов назад, выставив руки вперед, преграждая путь.

— Ты не должен был, — запиналась Леся. — Не должен был… Не должен был видеть меня там в лесу. Не должен был идти за мной. Не должен был…

Она обхватила себя руками, пытаясь успокоить

дрожащее тело. Арсений молча смотрел, боясь ее спугнуть.

— А потом… Ты умирал… Прости меня! Я думала, что смогу тебя отпустить, — расплакалась она вдруг.

У Арсения защемило в груди от жалости и любви. Он не мог смотреть на то, как Леся мучается. Он видел, что ее боль была намного сильнее физической. И ему жизненно необходимо было обнять девушку и утешить.

— Думала, поправишься и я тебя верну, — продолжила она. — Но я так устала одна!.. Так устала…

Арсений перестал что-либо понимать в ее отрывочных фразах. Одна? Вернуть? Умирал? Леся, будто заметив его недоумение, жалобно всхлипнула, глубоко вздохнула, набираясь смелости, и тихо зашептала. Пока по щекам градом катились слезы.

— Ты ничего не помнишь… Ни свою жизнь, ни тот день, даже то, ждут ли тебя дома, волнуются ли. Так надо. Иначе ты бы не поправился. Рванул бы искать путь домой и не выбрался бы. Потому что путь отсюда могу только я показать. Это мой лес, мои дорожки и пути. Самому не выбраться.

— Я ничего не понимаю… — дрожащий голосом

сказал Арсений.

— Я расскажу. Только, прошу, зла на меня не держи, — будто смирившись, проговорила Леся. — В тот день я услышала, как по моему лесу бродит охотник. Нельзя тут им быть, запретная зона. Я путала его как могла. А потом вышла на берег озера, чтобы зверье спугнуть и от смерти увести. И увидела тебя. Стояла и смотрела, с какой ты любовью и заботой фотографируешь мой лес. А потом ты меня заметил и побежал. Я ничего не могла сделать, не могла остановить тебя, не могла навести морок на охотника. Он принял тебя за добычу, которая возится в зарослях у озера, и выстрелил.

С каждой ее фразой в сознании Арсения всплывали воспоминания, будто и не исчезали никогда. Он помнил, как выстрел разрезал тишину, как в грудь что-то сильно ударило и как его накрыла темная пелена. А еще он помнил ее, Лесю, которая с неподдельным страхом вглядывалась в его лицо: «Как же так, миленький?»

Арсений машинально сжал грудь: ни раны, ни шрама… Как такое возможно?

— Ты был ни жив ни мертв, ровно на границе. И я забрала тебя в свой лес, в мою деревню. Потому что природа у меня такая — помогать… А

потом… Я оставила тебя себе, — почти неслышно стыдливо проговорила она.

— Что значит — себе?

— Ты улыбался мне, смотрел на меня этими своими глазами… — всхлипывала она. — Быть одной тяжело… Я подумала, что если ты меня полюбишь и мы будем вместе в моем лесу…

Арсений вдруг почувствовал себя очень глупым, ведь только сейчас до него начало доходить, что значит это «мой лес». Девушка, которую он считал самой необыкновенной и особенной, на самом деле была таковой. Той самой мифической гаевкой.

Она подняла на него глаза — красные, опухшие, полные отчаяния.

— Я опоила тебя, чтобы ты полюбил меня. Чтобы ты… чтобы ты остался со мной! Но так нельзя! Нельзя тебе здесь оставаться, Сеня! — ее голос стал громче и увереннее. — Если ты останешься — не сможешь уйти никогда. Лес не отпустит. А если уйдешь, то все забудешь, потому что чувства твои ненастоящие, это все отвар… — ее голос сорвался, и она снова всхлипнула. — А я верну тебя, потому что люблю. А любя — не удерживают!

— Леся, — только и смог выдохнуть Арсений.

Она резко вскинула руку и щелкнула пальцами.

Мир вокруг дрогнул, пуская мелкую рябь, поляна вдруг исчезла, и вокруг Арсения сомкнулась высокие сосны. Он стоял на краю леса спиной к той самой дороге, где вечность назад оставил свой автомобиль. Леся стояла перед ним, вглядываясь в его глаза с нежностью и теплотой.

— Подожди, — проговорил он, до конца не понимая и не осознавая, что с ним происходит. — Давай вернемся в деревню. Местные подскажут, Леся. Я не хочу уходить.

— Нет! — уверенно сказала она. — Ненастоящее это все! Не верь! Никто здесь больше печь не топит и к столу не зовет. Те, кого я так любила… Ни Мани нету, ни Оли, ни Сашки, и век уже, как дед Кондрат свои байки детишкам не рассказывает. Никого у меня больше нету. А я их помню. И тебя буду помнить. Уходи! Живи настоящей жизнью, не мороком!

Арсений хотел сказать еще слово, двинулся к ней в надежде обнять, но Леся резко толкнула его в грудь, и он, не удержавшись, сделал несколько шагов назад, за черту леса. В тот же миг воздух стал другим — плотным, холодным и по-весеннему свежим. Утреннее солнце ярко освещало дорогу сквозь ветви деревьев. Вдали стоял его старенький кроссовер и ждал путешествия домой.

Глядя по сторонам, Арсений недоумевал, как здесь оказался. Сколько времени прошло с того момента, как он сделал последние снимки в заказнике? Он стоял на обочине, дрожа от холода и чувствуя, что в груди появилась огромная дыра, будто из него вынули жизненно важный орган.

Он нашарил в кармане джинсов ключи и телефон, поправил тяжелый рюкзак на плечах и поплелся к машине. Взглянув на экран телефона, он с удивлением обнаружил, что прошло всего пять часов с того момента, как он вошел в лес. Отлично! Есть время, чтобы выбрать и подготовить снимки к выставке. Он был уверен, что в памяти фотоаппарата хранятся настоящие шедевры.

Запустив двигатель автомобиля, Арсений почувствовал, как кожа на щеках стала влажной. Он моргнул, удивленный неожиданными слезами, и крепче сжал руль.

— Но сперва выспаться, — пробормотал он. — Потом все остальное. Завтра важный день.

С дороги Арсений отправился сразу к Максу. Если он кому и доверял, кому и позволял иметь право голоса в выборе фотографий для выставки, то только ему.

Войдя в квартиру, он молча сунул фотоаппарат в руки Максу и ушел в душ, даже не поздоро-

вавшись.

— Ты чего такой разбитый? — крикнул друг вдогонку. — Сеня?

Ответом был лишь шум льющейся воды.

Макс пожал плечами и уселся за ноутбук, подключая камеру. Открыл первый кадр — озеро, туман, черная вода. Какая красота! Прав был Арсений, что рванул туда, вот она — истинная природа. Он начал просматривать снимки: второй, третий, сотый…

— Охренеть, — выдохнул Макс, когда на экране появилось новое изображение.

Он пролистывал дальше, и с каждым кадром его глаза становились все шире.

— Сеня! Ты когда новую технику купил? Модель со встроенной нейросетью? — заорал он, не в силах оторвать взгляд от монитора.

Арсений вышел из душа, на ходу вытирая волосы полотенцем. Он выглядел потерянным.

— О чем ты?

— Ты где это снял? — Макс развернул к нему ноутбук. — Это же… Я такого еще не видел. Слушай, это гениально! Никто так не делал. Ты просто… Как тебе такое в голову пришло?

Арсений взглянул на экран и замер, уставившись на фото. Вместо обычной деревушки он

увидел причудливо переплетенные ветки, мох, листья, которые складывались в призрачные силуэты домов, животных и людей. Вот изогнутая лоза образовала очертания женщины в платке, вот она повторяла форму скамейки и забора, вот ветви сплетались в горшки, миски и чашки. А на следующем фото пучок ветвей замер в позе танцующей девушки.

— Сеня, ты чего белый как стена? — смеясь, проговорил Макс и толкнул друга плечом.

Арсений молчал. С каждым новым фото в его груди, где еще несколько минут назад была огромная дыра, начало разгораться что-то тягучее, горячее и очень болезненное. Как будто вновь в небе прогремел выстрел и боль обожгла его грудь. А теперь жжет еще сильнее. Он вспомнил все: как снимал на озере, как заметил силуэт на берегу, как чуть не умер, как очнулся и впервые увидел ее, Лесю. Как гулял по деревне и помогал деду Кондрату, как на него ворчала тетя Ганя, как Сашка обнимал Олю на свадьбе…

«Никого у меня больше нету», — эхом отозвался в голове знакомый голос.

Арсений начал судорожно хватать воздух ртом, сжимая грудь в области сердца. Он вспомнил, как поцеловал Лесю под звездами, как она была для

него целым миром, а потом прогнала его, потому что полюбила. Гаевка. Настоящий дух леса.

— Мне нужно вернуться, — прошептал Арсений. — Прямо сейчас.

— Куда? Завтра выставка! — воскликнул Макс.

Но Арсений уже натягивал джинсы и хватал ключи.

— Потом все объясню, — крикнул он, вылетая из квартиры.

Макс в полном недоумении смотрел на экран компьютера, не понимая, что заставило его друга снова сорваться в лес. В одном он был уверен: это будет прорыв!

Арсений гнал по трассе. Ему не терпелось снова увидеть деревню, поговорить с жителями, а главное — встретить Лесю.

Он влетел в лесополосу, где еще утром оставил машину, и тут же понял: он понятия не имеет, куда ехать. На обочине пожилая женщина выгуливала маленькую собачку. Арсений притормозил и опустил стекло.

— Здравствуйте, подскажите, тут в лесу деревня есть. Как туда проехать?

Женщина окинула его внимательным взглядом.

— А тебе какая нужна? — переспросила она.

— А я… — стыдливо запнулся Арсений. — Я не знаю названия. Там озеро рядом, болото, Лес…

— Лесцы, что ль? — перебила женщина. — Так бы и сказал. Езжай до указателя, а как свернешь, все время прямо. А ты чей будешь? Чего собрался туда? Там же… — продолжила было женщина, но Арсений ее не услышал, он уже рванул вперед, вжав в пол педаль газа.

Спустя несколько минут он заметил указатель и свернул на разъезженную колею, которая вывела к небольшой поляне. Вдалеке, у самого ее края, стоял потертый въездной знак с выгоревшей на солнце надписью: «Лесцы».

Арсений облегченно вздохнул: он нашел ее, добрался. Заглушив двигатель, он вышел и не спеша двинулся к знаку. Около него вдруг замер, прислушиваясь к шуму леса и пытаясь уловить за ним знакомый гул голосов, стук топора и смех ребятишек. Сердце ухнуло вниз — кроме скрипа деревьев, качающихся на ветру, и криков птиц, он не слышал ничего.

Арсений огляделся и медленно побрел к деревне в надежде, что ошибся, просто приехал не туда. А его деревушка стоит где-то рядом, за стеной сосен.

Но вот она, та самая улица. То же солнце, яркое-

яркое, пробивающееся сквозь ветви деревьев, то же поле, те же яблони и сирень, только теперь они разрослись и одичали. А вместо наполненной жизнью деревни перед ним предстали лишь две покосившиеся избы, которые давно вросли в землю по самые окна. Пустые, безликие, они стояли, утонув в бурьяне в человеческий рост. Крыша одной из них совсем просела, и сквозь прореху к солнцу тянулась молодая березка.

Арсений дошел до конца улицы и остановился у второй разрушенной избы — последней, у самой кромки леса — и обессиленно присел на траву. Печаль разрывала его изнутри, он вспомнил слова Леси и с горечью в сердце наконец осознал, почему она осталась одна.

Время.

И тут он почувствовал легкое дуновение ветерка рядом с собой, будто кто-то невидимый опустился на траву рядом с ним. Совсем близко. Он закрыл глаза и почувствовал, как теплая ладонь коснулась его щеки. Он представил, что это Леся, и тут же ощутил, как что-то надавило ему на плечо — тяжесть головы, устроившейся в ложбинке у шеи.

Арсений резко открыл глаза и застыл в изумлении.

Из земли у развалившихся изб начали прорастать ветви лозы. Они тянулись вверх, переплетались, в точности повторяя форму брусьев, и укладывались в ровные ряды стен. Сначала один дом, потом другой, а там и целая улица с ровными заборчиками и лавочками у калиток. Сотни тоненьких веточек сплетали родной облик давно ушедшей деревни, обращая время вспять. Арсений боялся пошевелиться, чтобы случайно не спугнуть это видение.

А когда у дворов начали появляться призрачные силуэты, дыхание и вовсе сбилось.

Сначала сгорбленные тени стариков вставали у домов и медленно входили внутрь. Следом тянулись молодые, те, кто когда-то навсегда покинул эти места, променяв тишину родного леса на городской гул. И тут же деревня наполнилась знакомым шумом: женщины перекликались у грядок, босая ребятня с визгом вылетела со двора, рассыпая по траве из подолов белый налив. Арсений рассмеялся, увидев, как следом за ними, размахивая палкой и что-то выкрикивая, ковыляла бабка. Деревня снова гудела жизнью.

И вдруг — громкий хлопок. За ним еще один. Арсений увидел, как в одном из дворов женщина в платке хлестко встряхнула мокрое белье. Па-

рень затаил дыхание и перевел взгляд на скамью у другого двора. Там сидел сгорбленный старик, который, что-то напевая, плел корзину. А в самом конце улицы на крыльце дома парень крепко обнимал девушку сзади. Он поцеловал ее в висок, а она, закрыв глаза, доверчиво откинулась ему на грудь.

Арсений моргнул несколько раз, прогоняя слезы, а когда взгляд прояснился, все исчезло.

Он долго сидел на траве с теми воспоминаниями, которые Леся доверила ему. Он переживал их снова и снова, пока небо не окрасилось в закатный цвет. А после встал и тихо произнес:

— Никогда вас не забуду. И о тебе, Леся, мой лесной дух.

У въезда в деревню он обернулся. Там мирно стояли лишь две полуразрушенные избы.

Но он знал: она там. Всегда там.

Хранительница леса. Хранительница памяти.

Татьяна Князева. Огонёк на краю болота



Татьяна Князева

Огонёк на краю болота

Беларусь славится не только лесами и озерами, но и своими болотами. А каждому болоту нужен свой хозяин, и зовут его багником. Как написал известный исследователь Николай Никифоровский, «он никогда не появляется на поверхности своей „багны“ и присутствие в ней выдает лишь пузырями на поверхности да изредка – мелкими огоньками там же».

ПРОЛОГ

Похороны прошли вчера. У покосившейся ржавой оградки собралось человек десять стариков, повздыхали да кивнули со словами: «Царство ему небесное, добрый был человек». Павел тоже кивал, хотя и косились все на него как на чужого. Он в эту деревню приезжал от силы раза два за всю жизнь, но все равно помнил, что дед и правда был хороший.

Мать Павла вообще не приехала. Только сказала по телефону: «Ты там сам как-нибудь разберись, сынок. Дед упрямился, не хотел подписывать ничего, а теперь все и без него в управлении решат».

Вот он и разбирался, стоя у раскрытого шкафа и перебирая ветхие бумаги. Они, как и весь дом,

пропахли махоркой, сушеной мятой, печной золой и чем-то торфяным, будто само болото просочилось сквозь стены. Павел складывал документы в две стопки: что пригодится для оформления на дом, а что можно выбросить.

Возня с бумагами утомила, голова гудела, и он подошел к окну. За стеклом уже начинало темнеть. В этих краях вечер наступал рано, первые звезды уже проклюнулись на востоке. Там, где кончался заросший травой участок, начиналось болото.

— Багна, — вдруг всплыло в голове у мужчины. Так называл болото дед, и слышалось в этом слове что-то древнее, вязкое, опасное.

А следом пришло и другое воспоминание. Как он вместе с дедом стоял на берегу. Солнце уже садилось, а болотная вода казалась черной как чернила. Дед взял его за руку мозолистыми пальцами и сказал: «Запомни, унучак, это место. Его зовут Багна».

Пашка тогда спросил: «А почему так?» Дед ответил: «Потому что это его имя, живое оно, наше болото. Слышишь, как дышит, га?» Пашка прислушался, но ничего не услышал, только почувствовал, как ветер зашевелил лозу. А дед улыбнулся и сказал: «Ну ничего, потом научишь-

ся».

Но Пашка так и не научился…

Он передернул плечами, достал сигарету и вышел на крыльцо. На улице было необычайно тихо: деревенские ложились рано, а собаки уже успели попрятаться в будки. Только где-то в камышах лениво перекликались лягушки. Павел прикурил и глубоко затянулся, глядя в темноту.

Вдалеке что-то моргнуло — яркий лучик света загорелся над водой. Не костер, не фонарик, не светлячок (да и какие светлячки осенью?), а просто маленький огонек, который завис в воздухе и смотрел прямо на него.

Павел замер с сигаретой у рта, вглядываясь и пытаясь разглядеть источник света.

«Как странно», — подумал он.

А огонек, словно испугавшись, еще раз моргнул. И погас.

* * *

За три года до этого Михась впервые увидел свет на болоте.

Он тогда еще не совсем потерял зрение: различал день и ночь, видел размытые силуэты, мог сам наколоть дрова, на ощупь вытянув поленья из дровницы. Но мир уже стал другим — не

черным, а серым, который вот-вот затухнет как спичка, оставив старика в кромешной тьме.

Врачи в районной больнице сказали: «Катаракта, дед, операцию вам делать нужно, а то ослепнете». Но денег у Михася не было. Пенсия маленькая, а операция вон какая дорогая. Дочь могла бы помочь, но он не стал ее просить. Ей самой, поди, непросто, внука поднимать надо, да и не хотел он быть у нее в долгу. Вот и уехал Михась обратно в свою хату, наплевав на увещевания докторов.

Но перед тем как зрение угасло окончательно, он кое-что сделал. Целыми днями ходил по болоту с карандашом и бумагой, зарисовывал каждую птицу, каждое растение, записывал названия, где какое гнездо, где чья нора. Соседи только головами качали: «Михась, ты ученый или дурны? На болоте невесть кто водится, пропасть недалеко, а ты по трясине ходишь. Да и кому твои бумажки сдались?» Но он продолжал свою работу. Не пригодится ему, так, может, внуку, если когда-то приедет.

И пока другие боялись, что болото затянет, утопит, не отпустит, старик слушал его, по ночам сидя на крыльце. Оно дышало всегда — то всхлипывало, то вздыхало, то шепталось тысячей

голосов, в которых Михась научился различать птиц, зверей и просто воду. Он знал, что весной багна просыпается, летом цветет, осенью тяжелеет, а зимой замирает, но не умирает — ждет прилета птиц и головастиков, что выползут из торфяной грязи и поползут греться на солнце. Эти ночи были его утешением: пока мир вокруг становился все темнее, болото оставалось живым и знакомым. Оно не требовало зрения, только слуха и терпения.

В ту ночь он уже собирался заходить в хату, потянулся к двери, нащупал скобу, когда заметил свет. Глаза его почти ничего не различали, но яркое пятно над водой старик увидеть мог. Огонек горел там, где раньше была только чернота, и Михась замер, не понимая, что это.

— Хто там? — крикнул старик.

Никто не ответил. Огонек не двигался.

Михась постоял, вглядываясь в серую муть, и пошел в хату. Зачем-то закрыл дверь на крючок. А вот зачем? Сам не знал. Если тот, кто светит, захочет войти, крючок его не остановит.

Наутро старик подумал, что это все были шутки его больного зрения. Но следующей ночью огонек загорелся снова. В этот раз ближе шагов на десять. Михась почувствовал это кожей, от

огонька словно тепло пошло. И запах. До этого на болоте пахло тиной и подгнившей землей, а теперь добавилось что-то еще. Так пахнет лоза, если сломать ее у самой земли, — горьким соком и чем-то сладковатым.

— Чего тебе надо? — крикнул Михась.

Огонек только медленно мигнул один раз.

— Э, чорт, — беззлобно выругался старик и полез в карман за кисетом.

Первые ночи он ждал огонек с тревогой и не сразу выходил на крыльцо. Но через неделю перестал бояться этого странного света. Он даже разговаривать с ним начал. Сначала просто так, бывало, буркнет под нос в пустоту: «Холодно сення», «Сахару пора б закупиться в автолавке, а я все тяну». Потом — уже обращаясь к самому огоньку: «Слышишь меня, га?» А он моргнет в ответ — и на душе у старика спокойнее, будто и вправду кто-то слушает и отвечает.

Однажды, когда стемнело особенно рано, Михась вынес миску с молоком. Поставил на берег и произнес:

— Ешь, если хочешь. Теплое еще.

Он сам не знал, зачем решил угостить огонек, но что-то подсказывало: так надо.

Утром Михась нашарил миску, провел рукой

по дну и нащупал что-то маленькое, круглое, влажное. Он поднес находку к носу, понюхал, а потом осторожно закинул в рот.

— Ну и ну, — цокнул языком он. — Я думал, ты животина нейкая, а ты журавины носишь.

В деревне про его ночного соседа никто не знал, да и не стоило им знать. Люди болота боятся, а уж если там взаправду кто-то живет, то и подавно. Михась помнил старые истории — как в детстве его бабка рассказывала про багняников, лозовиков, про тех, кто в тине живет и ходит по ночам. «Ты болото не шаруди, внучок, — говорила бабка, — птицу да рыбу почем не пугай. Не любят они этого…» Он тогда только смеялся…

Так и тянулись дни — один за другим. Михась уже и счет времени потерял. Только и заметил, что весна пришла, когда рубаха начала становиться мокрой от пота уже к полудню. Старик с утра возился в огороде, картошку окучивал; хоть ничего уже толком не видел, но руки помнили каждую грядку. И тут со стороны болота донесся звонкий детский крик.

Михась нахмурился. Крик повторился, а следом раздался всплеск воды и хохот.

«Ох, неладное тут нешта», — подумал старик, поднял палку с земли и, нащупывая дорогу, по-

шел на голоса. Крики становились все громче, а вместе с ними шел странный писк, тонкий и жалобный, как от птенца.

Михась вышел на поляну у самой воды и остановился. Впереди он увидел размытые низкие тени — наверняка они и подняли весь этот шум. С годами слух у старика стал острее, и теперь он слышал тяжелое дыхание, хруст ломаемой лозы и шлепки босых ног по воде. И еще этот дрожащий, надрывный звук, исходящий от самой земли, от которого у Михася сжалось сердце.

— Вы что делаете?! — крикнул он.

Тень немного пошатнулась, а потом раздался наглый ломающийся мальчишеский голос:

— А вам чего?

— А ну пошли отсюда! — сказал Михась и сделал шаг вперед. — Быстро.

— Мы просто так, — тихо, но без стеснения ответил второй.

Михась шагнул еще раз, чувствуя, как под ногами хлюпает вода:

— Я сказал — вон!

Он услышал, что один из них попятился, зацепил ветки, а тот, что говорил нагло, фыркнул и бросил что-то вроде «подумаешь, какой-то старик», но не успел договорить. Михась шагнул к

нему, протянул руку в темноту, нащупал прут и вырвал из пальцев. Тот вскрикнул — то ли от неожиданности, то ли оттого, что старик случайно задел руку, — и отскочил.

— Каб духу вашего здесь не было! — прикрикнул Михась. — Багна шуток не любит!

И эти двое побежали прочь, все дальше и дальше, пока совсем не растворились в жарком воздухе. Михась еще немного постоял, переводя дух и чувствуя, как сердце стучит в груди. Потом он осторожно присел на корточки, чтобы не оступиться, и протянул руку в сторону, откуда доносился писк. Пальцы нащупали мокрую траву, тину, а потом что-то теплое, маленькое и трепыхающееся.

Михась аккуратно поднял птенца, прижал к груди, прикрывая ладонью от ветра, и медленно, нащупывая дорогу палкой, побрел к хате.

Там он положил птицу в коробку рядом с печкой. Что с ней делать, он не знал. Ветеринаров в деревне не было, да и кому какое дело до какой-то болотной птицы.

— Отойдешь — твое счастье, — сказал Михась птенцу. — А если нет, прости.

Прошел день. Птенец затих, только иногда тихо попискивал, но уже не так жалобно, и Михась

почувствовал облегчение. Дай Бог, оклемается.

На следующий день пришла тетя Вера. Соседка иногда захаживала к старику, то молока принести, то хлеба, да и просто проведать. Женщина она была сердобольная, но говорливая — слов в ней было, как на болоте комаров.

— Слышал, что у нас делается? — спросила она, усаживаясь на лавку. — Горе-то какое! Внуки Петровны пропали. Ушли на болото, а к ночи не вернулись. Сначала свои искали, потом вся деревня поднялась на поиски. В милицию звонили, участковый приезжал аж из соседнего села… Ты, может, их где видел?

— Видел, — ответил старик. — Да прогнал. Они там… птушаня мучили.

— Эх, — вздохнула тетя Вера. — Везде успели набедокурить. Все лето шастуют, яблоки вон у меня все оборвали, у Михалыча собаку задразнили. Видно, отвадили их местные, так они за болото принялись. И вот пропали… Ох, ты ж, божа-божа! — запричитала она. — Второй день пошел, как их ищут.

Она вдруг понизила голос и заговорщически произнесла:

— А я думаю, нечисть болотная их взяла. На поиски же собак привезли из района, а они в болото

заходить отказались. Все скулили, упирались, назад тянули. Почуяли, видать, там что-то, что лучше туда не соваться.

Михась похолодел. В голову закралась страшная мысль. А что, если это его огонек детей уволок? А что, если он и недобрый совсем?

— Петровна вся изошлась от нервов, бедная, — смахнула слезу тетя Вера. — А мужики наши говорят, что все болото виновато. Завтра собрание в сельсовете, предлагают осушить его от беды подальше.

— Скажешь тоже, — сцепил руки на коленях старик. — Может, попугает их багна да отпустит.

Когда, поохав и повздыхав, соседка ушла, Михась в тревоге присел на крыльцо, с нетерпением ожидая ночного соседа. Но вечер уже медленно, крадучись, опустился на хутор, затем загорелись звезды, а огонька все не было. Не находя себе места от волнений, старик уже собрался идти вглубь болота, когда тот наконец-то загорелся вдали.

Но что-то изменилось. Свет был не таким, как всегда. Не теплым, не уютным, а каким-то суетливым, напряженным.

Михась поежился, кутаясь в старую телогрейку:

— Это ты их забрал?

Огонек качнулся — медленно и тяжело, словно не признавая вины.

— Они ж дети, — голос старика дрогнул. — Дурныя. Городские. Они не понимали, што делают. Они ведь не со зла багну растревожили, а так, по глупости, — добавил Михась уже мягче, с мольбой в голосе. — Отпусти их, а я их научу, объясню, как с багнай дружить, если опять будут баловать.

Он помолчал, потом добавил тише:

— Прости их, если сможешь. Они ж малыя еще.

Огонек дрогнул, словно замешкавшись, а потом исчез. Михась просидел на берегу до рассвета, надеясь на какой-то знак, но, так и не дождавшись, задремал. Его разбудили крики. Они неслись с улицы и становились все ближе и громче. На дороге замелькали силуэты: кто-то бежал, кто-то обнимался, голоса смешивались в радостный шум.

Одна из фигур, заметив Михася, принялась махать руками и побежала к калитке, крича издали:

— Михась, дети нашлись! Живые! Сами вышли на дорогу! Грязные, худые, перепуганные, божа-божа! Мы их расспрашиваем, а они только повторяют: «Там было все время темно и страшно. Мы плутали, плутали, пока впереди не увидели,

что-то кто будто фонарик зажег, только никто его не держал. Мы на него пошли и вышли», — узнал в этом гомоне Михась тетю Веру. — Может, ангел-хранитель отвадил нечисть болотную, а может, сам Господь свечу зажег! — перекрестилась она. — Только надо это болото осушать наконец, а то мало ли что там еще водится. Не место ему рядом с людьми.

Михась только покачал головой. Куда осушать? Нашлись же все! А соседка не останавливалась и побежала дальше делиться новостями. Старик вернулся в дом, заглянул в коробку за печкой. Птенец трепыхнулся и забил крыльями.

— Ну што, — осторожно погладил теплые перышки Михась, чувствуя, как под пальцами бьется маленькое сердце. — Выжил? Повезло тебе.

Птенец радостно крякнул в ответ…

С тех пор многое изменилось.

Мальчишки больше не совались на болото — видно, усвоили урок. А по деревне продолжали ходить разные слухи: кто-то говорил, что их водил леший, а кто-то считал, что они просто заблудились. Но Михась понял, что вывел их тот самый огонек. Значит, тот, кто светил по ночам, вовсе не был злым. И за это он хотел его отбла-

годарить.

«Позову его в хату, — решил старик. — Скажу спасибо — за мальчишек, за клюкву. Только как позвать, чтоб не напугать?»

И однажды ночью, когда огонь в печи догорел, Михась поднялся, отодвинул засов и приоткрыл дверь. Постоял, собираясь с духом, и крикнул:

— Заходь! Не бойся. Все равно я ничего не вижу.

Тишина за дверью была такой густой, что казалось, будто ее можно потрогать. А потом послышались шаги — мелкие, легкие, почти бесшумные, словно кто-то маленький крался по ступенькам. Воздух в хате наполнился запахом сорванной лозы. А еще чем-то живым, уютным, что никак не вязалось с образом болотной нежити. Михась заметил в полумраке силуэт и слабое свечение — ровный золотистый свет горел на том месте, где у человека должны быть глаза, и он понял, что это и есть тот самый огонек, который он видел на болоте. Сердце у старика забилось в горле от страха, но он не отступил, а лишь указал рукой на лавку:

— Садись. Или хочешь на печь? Только растоплась.

Незнакомец присел на лавку, а затем раздался

хриплый скрипучий голос — как будто ветром качнуло старую лозу:

— Сов-сем… не ви-ди-шь?

— Так, только пятна да свет, — кивнул Михась. — Глаза совсем отказали.

— И… ты не бои-шь-ся?

— Ну… хотел б ты меня съесть, уже давно б съел. А ты молоко пьешь и ягоды носишь. Видать, добры ты.

Незнакомец шелохнулся и зашоркал свисающими с лавки ногами по полу.

— Ме-ня все боя-тся, — в голосе его слышалось искреннее удивление, будто он сам только сейчас понял, как это долго длилось. — Как уви-дят — кри-чат, кам-ни ки-да-ют, убе-га-ют. А ты…

— А я слепой, — усмехнулся Михась. — Повезло тебе.

Существо раскатисто засмеялось и ухнуло, как болотная сова.

— И спасибо тебе за тех детей…

— Я их не тро-гал, — резко и почти обиженно отрезал гость. — Как уз-нал, сра-зу вы-вел. Я не та-кой, как про ме-ня ду-мают.

— Знаю, — мягко произнес старик, словно извиняясь. — За это и спасибо.

Он замолчал, немного побаиваясь, но потом

решился:

— Как тебя зовут?

— Не зна-ю. Ни-кто не назы-вал.

— Лозовик? Или багняник? — Старик почесал бороду и задумался. — Только это не имя, а прозвище. А любому, хто живе, должно быть имя. — Слушай, — пришло ему в голову, — ты же ночью мне свет приносишь. Буду звать тебя Светло, га?

— Зо-ви, — прохрипело существо. Потом тихо добавило, почти шепотом: — Мне нра-ви-тся.

Они разом замолчали, но тишина уже не была неловкой, а какой-то теплой, домашней. И Михась вдруг спохватился: «Что ж это я, стары дурень? Гостю даже питья не предложу». Он нашарил на столе кружку, налил из молочника парного молока и осторожно подвинул в сторону существа. Светло осторожно придвинулся к кружке и отхлебнул.

— А расскажи про себя, — спросил Михась, и в голосе его уже не было ни робости, ни опаски, а только любопытство, какое бывает между старыми добрыми соседями. — Откуда ты взялся?

— Не по-мню, — ответил Светло, и голос его звучал глухо, будто где-то далеко в глубине он пытался откопать старые воспоминания. —

Сколь-ко себя знаю, все-гда здесь жил. Это уже лю-ди потом при-шли.

— И што, они тебя, как я, увидели?

— Да, — вдался Светло в далекие воспоминания. Голос его становился все чище, яснее и глубже, будто говорила не одна маленькая сущность, а вся вода в Ислочи, весь мох и все корни болота разом обрели голос. — Остав-ля-ли у во-ды пшеницу или мед. Я им по-могал — пока-зывал, где искать ягоды, приводил рыбу к берегу, от беды обе-регал. Жили ря-дом и не мешали друг другу. А затем пришли другие, — продолжил он, и в голосе появилась горечь. — Стали говорить, что я нечистый, что от меня беда одна и что болото мое — гиблое место. Начали ставить кресты по краям берега и читать молитвы, чтобы я ушел…

Михась почувствовал, как маленькие ручки Светло сжались в кулаки.

— Так я и научился прятаться. И остался совсем один.

— Совсем один? — в голосе Михася послышались и жалость, и гнев на тех, кто забыл это маленькое светящееся существо, кто заставил его веками прятаться в лозе и бояться каждого шороха. По спине старика побежали мурашки, но не от страха, а оттого, что он вдруг понял: все эти

годы его болото дышало о боли и одиночестве.

Оно не было опасным — никогда, просто люди боятся того, чего не понимают. Перед ним сидел не враг, а просто уставшее создание, которое впервые за сотни лет встретило того, кто не отшатнулся, а захотел узнать его поближе.

— Один, — выдохнул Светло. — Но я привык. Главное, чтобы болото мое не трогали и зверей.

Он помолчал, а потом тихо, почти шепотом спросил:

— А ты? Почему ты один? Где твои люди?

Михась вздохнул, теребя край рубахи. Ему вдруг захотелось все рассказать…

— Эх, Светло, — вздохнул он. — Была у меня дочка…

И он принялся говорить о том, как она уехала в город еще в восьмидесятых, молоденькая, глазастая и полная надежд. Вышла замуж, родила сына, развелась и закрутилась в той чужой, быстрой жизни, где главное — работа и деньги, чтобы все было как у людей. Раз она и Михася звала переехать, но как-то неуверенно, словно из вежливости, будто сама боялась, что он согласится. А он и отказался — не потому, что не хотел быть рядом, а потому, что боялся почувствовать себя в городе лишним, думал, что она будет стыдиться

его — старого, с деревенским говором. И что внук его, Пашка, вырастет и, возможно, даже и не поймет его белорусскую «трасянку».

Светло слушал не перебивая, и в его молчании было что-то такое, что заставляло старика говорить дальше, открывать то, что продолжило бы тяжелым грузом лежать на душе, если бы не их встреча.

Михась не винил дочь, жизнь в городе жесткая. А здесь, в глухой деревне, даже время течет иначе. Можно сидеть на крыльце и слушать, как лягушки перекликаются, и это уже счастье. Но где-то в глубине души ему все равно было обидно.

А потом он рассказал о Пашке, совсем иначе, чем о дочери, теплее, будто вытаскивал из сундука самую дорогую, самую хрупкую вещь.

В первый приезд, когда внуку было три года, мальчик испугался деда, плакал, не шел на руки, и Михась тогда подумал: ну вот, так и будет, чужой он им, чужой. Но потом, когда Пашка подрос и приехал уже школьником на все лето, все пошло иначе. Сначала внук скучал, сидел в телефоне, злился на комаров и на то, что здесь нет привычного городского комфорта. Но дед не отставал, приучал внука к сельской жизни. Они вместе топили печь, ходили по грибы, вечерами

сидели на крыльце. Дед терпеливо водил внука за руку — сначала на огород, потом на тропинку к камышам, потом к самой воде. Показывал, где цветет багульник, где прячутся головастики, где растут самые сладкие журавины. Рассказывал все, что знал, не навязываясь, не торопя, просто делясь тем, что любил сам.

И однажды мальчик вдруг остановился на тропе, прикрыл глаза и сказал: «Дед, а ведь правда красота тут!» С этого момента Пашку словно прорвало. Он полюбил это болото — не на словах, не из уважения к деду, а всем своим городским избалованным нутром, которое вдруг захотело не гаджетов и асфальта, а вот этой сырой звенящей тишины. Ему стало мало того, что показывал дед: он хотел понимать, почему ива склоняется к воде, почему туман по утрам ложится именно так. Он перестал бояться трясины и шарахаться от оводов. Каждое утро бежал к Михасю: «Пойдем, деда! Стрекоз наблюдать!» И дед поверил, что сможет передать внуку главное: счастье не в бетоне и удобствах, а в этих местах, в родных корнях, которые держат землю и душу.

А потом приехала дочь — на месяц раньше срока.

Пашка услышал машину и замер. «Дед, это за

мной?» — спросил он, и в голосе его была такая тоска, что Михась не нашелся что ответить. Дочь вышла из машины, махнула рукой: «Собирайся, пора домой». Но Пашка попятился, замотал головой, а потом кинулся к деду, обхватил того за пояс. «Нет! Я остаюсь! Я не хочу в город! Деда, скажи ей, что я не поеду!» И дочка как с цепи сорвалась: «Я выбила для тебя место в колледже! Все пороги отбила, чтобы тебя, оболтуса, туда приняли! Через неделю вступительные экзамены. Это шанс в будущее, такой нельзя упустить!»

Пашка смотрел то на мать, то на деда, и в глазах его стояли слезы. Он не понимал, что такое «шанс в будущее». Он понимал только, что сейчас у него отнимают место, где он был по-настоящему счастлив.

Михась попробовал что-то возразить, но дочь схватила Пашку за руку, дернула к себе и потащила к машине, выговаривая отцу:

— А ты ему голову уже болотом задурил? Я, между прочим, из этого болота выбиралась, чтобы сын мой человеком стал, чтобы он не в грязи копался, а учился, работал, жил как люди. А ты его решил сюда затащишь?

Михась стоял на крыльце, сжимая перила так, что побелели костяшки. Он хотел сказать, что

багна — это не грязь, что она целый мир, но язык не повернулся.

Машина завелась, взревела, выплюнула сизый дым и укатила по пыльной дороге. Пашка прилип к заднему стеклу, размазывая слезы по щекам, и что-то кричал — уже не разобрать было сквозь стекло и шум.

— В машине дочка, видно, сказала ему еще что-то, — голос Михася дрогнул, он смахнул слезу, не стесняясь уже ни своего ночного гостя, ни собственной слабости. — Не знаю что, но больше они не приезжали. А я ждал. Думал, может, на следующий год она отправит Пашку снова. Или он хотя бы позвонит. Но нет. Так и годы прошли. Не нужен я им, видно, — смахнул слезу Михась. — Я для них стал чужим.

— Нет, ты не чужой. Ты — здешний, болотный, — помотал головой Светло. — А птенец, что ты отпустил, скоро в утку вырастет, на крыло встал.

Михась аж поперхнулся, то ли от слезы, то ли от смеха, но спорить не стал.

Так они и просидели до рассвета. А под утро Светло залез на печку, свернулся там клубочком и заснул. Михась прикрыл глаза, прислушиваясь к его дыханию, и вскоре тоже заснул.

* * *

Осень прошла незаметно, и, когда зима окутала болото, Михась уже привык, что Светло заходит к нему в хату.

Погода выдалась на редкость снежная и студеная. Хата плохо держала тепло, и старик часто просыпался по ночам от холода, который пробирал до самых костей. Он редко выходил за пределы калитки: дорогу замело, за продуктами ходить не было особой нужды — в погребе лежали картошка и капуста. Соседка, тетя Вера, по привычке заходила раз в неделю проверить, жив ли он. Михась отнекивался: «Живой, живой, не волнуйся». И торопил ее уйти, потому что боялся, что она увидит Светло.

А сосед продолжал приходить. Его борода, седая и лохматая, спускалась до самой земли, и иногда из нее на пол хаты выпадали маленькие сухие веточки или прошлогодние листья. А однажды на пол упала и маленькая замерзшая рыбешка — видно, Светло зацепил ее где-то во сне. Он смущенно зашуршал, подобрал ее и быстро сунул обратно в бороду. Михась только посмеялся: «Ты что, в себе все таскаешь, как сорока?» И Светло обиженно засопел, но потом тоже засмеялся. Он

любил сидеть вечером на печке, смотреть в окно своим единственным глазом и тихо напевать что-то под нос низко, тягуче, как вода, что застоялась в старых корягах и не знает, куда течь.

— Что поешь? — спросил Михась как-то.

— Вспоминаю, — ответил Светло. — Как раньше было. Когда не было людей, только болото и лес. Тогда я был маленьким. А сейчас я старый, как ты.

Михась усмехнулся:

— Сколько ж тебе лет?

— Не считал. Тысячу, две, а может, три.

— Во и на тебе, — аж приоткрыл старик рот. — А мне семьдесят девять, а я уже устал топтать зямлю.

Светло соскользнул с печки, подошел к Михасю и стал совать ему в руку что-то маленькое и теплое.

— Это тебе. Чтобы не мерз.

Михась нащупал подарок. Это был камень — круглый, гладкий и удивительно теплый, словно только что вынутый из печи.

— Почему теплый такой? — удивился он.

— Он со дна, — ответил Светло. — Там, где вода чистая, камни всегда теплые. Вот я и решил, что пусть будет он у того, кто любит болото так же,

как и я.

Михась сглотнул, сжал камень в кулаке и закрыл глаза. Он не плакал уже много лет — с того дня, как понял, что дочка с внуком не приедут. А сейчас слезы сами потекли по морщинистым щекам, и он не стал их вытирать.

А весной приехали люди. Михась услышал машину еще издалека, примерно за версту. Она громко тарахтела, буксуя в грязной дороге. Затем во дворе послышались громкие шаги и приехавший постучал в дверь.

— Здравствуйте, — послышался незнакомый голос, и дверь приоткрылась, впуская холодный воздух и запах бензина. — Мы к вам по делу.

Вошедший сел на стул и зашуршал бумагами, принявшись что-то быстро объяснять. Михась только и успевал улавливать слова: «болото», «осушение», «торф», «деньги», «компенсация».

— Вы подпишите вот здесь, — сказал он в конце, суя под нос бумагу, которую Михась все равно не видел.

— А что подписать-то?

— Согласие. Болото пойдет под разработку пахотных земель. Техника уже заказана, в следующем месяце копать начнут. Но вы не переживайте, вам квартиру дадут в областном районе.

Двухкомнатную.

У Михася аж сердце екнуло:

— Зачем?

— Что зачем?

— Болото осушать… Там же жизнь… Там же птицы редкие… Краснокнижные…

Человек вздохнул.

— Слушайте, дед, вы, кажется, не понимаете. Это хозяйственная необходимость. Колхозам земля нужна. Торф нужен. А ваши птички… Ну, перелетят куда-нибудь. Не пропадут. Вы лучше о себе думайте. Вам сколько лет?

— Восемьдесят уже.

— Вот видите. У вас тут печка, дрова таскать надо, вода небось тоже из колодца. Вам же тяжело. А в квартире — газ, электричество, все удобства, магазины рядом. Внуки приезжать будут чаще.

Михась сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Этот человек даже не знал, что никакие внуки к нему не приезжают и вряд ли когда приедут. И что станет с его маленьким ночным соседом? Михась вдруг остро, до холодной пустоты в груди, представил, как бульдозеры вгрызаются в трясину, как чахнет и чернеет лоза, как исчезает огонек, который светил ему в темноте…

— Не подпишу! — стукнул он кулаком по столу

так, что тарелка в шкафу звякнула.

— Что?!

— Не подпишу, говорю. Идите!

Человек еще что-то объяснял — про деньги, про то, что все равно решат без него, что он, старый дурак, ничего не понимает. Но Михась, стиснув зубы, наотрез отказался подписывать бумаги.

— Ну, ваше дело, — бросил мужчина. — Большинство уже все равно согласны.

И машина уехала. А Михась упал на стул и уронил руки на столешницу.

— Неужто тетя Вера накаркала? — пронеслось вдруг, и от этой мысли стало еще горше. — Неужели правда осушат?

Его пальцы задрожали мелкой противной дрожью. Вечером, когда Светло пришел к нему в хату, тот все ему рассказал.

— Отберут они болото, — встревожился Светло и заметался по комнате. — А я где тогда жить буду, если всю воду спустят и земля высохнет? Там же моя нора под корягой, кусты, где я прячусь днем от солнца и людей. Выходит, ничего не останется…

Он остановился посреди комнаты, и в темноте загорелся его глаз — тревожно, неровно, как свечка от сквозняка.

— Сколько лет я тут живу, — запричитал он. — Никого не трогал, даже помогал тем, кто заблудится. А теперь… теперь меня с болотом моим… с землей сровняют?

Михась стиснул пальцы так, что суставы хрустнули.

— Не дадим осушить. Я не дам!

— Как?

— Договариваться пойду. Не может быть, чтобы всем было все равно!

Неужели теперь из-за пустых бабьих страхов Светло, который никому не сделал плохого, который ягоды ему носил, который детей из темноты вывел, его доброго друга хотят лишить дома? Кто дал им право? Михась замотал головой. Нет, он не допустит.

Наутро дед собрал папку со своими рисунками и картами, сунул ее под мышку и пошел в сельсовет. Дорогу он помнил плохо, но решил, что спросит у людей, если что.

Вышел за калитку, палкой нащупал тропинку и направился вперед. Сначала шел уверенно, но чем дальше отходил от дома, тем больше путался. Свернул не туда и вместо проселочной дороги оказался у леса, где долго кружил по полю, пока не услышал вдали звук трактора.

— Гэй! — крикнул он. — Как до сельсовета добраться?

Оказалось, что от здания он далеко зашел. Пришлось старику развернуться обратно, проклиная себя на чем свет стоит.

В сельсовет он добрался только к обеду. За столом сидел не кто-нибудь, а свой же, земляк — Валерка, с которым они в одну школу ходили.

— Вот, — сказал дед, кладя папку прямо перед ним. — Я тут все записал. Какие там растения, какие птушки водятся. Багну охранять надо, а не осушать!

Чиновник лишь глянул пару страниц, хмыкнул и отложил в сторону.

— Михась, ты в своем уме? Какое болото? Всю деревню переселяют, всем квартиры дадут. Благодать же! А ты с этим болотом, как с торбой писаной. Ну что тебе тут делать одному, когда кругом ни души будет? Так что не дури, собирайся, поедешь в город, к людям. Точка.

— Не нужно мне города, — упрямо затвердил Михась. — Мне багна нужна!

Чиновник вздохнул, потер переносицу:

— Слушай… Я тебя понимаю, конечно. Ты к этому месту привык, но тут объективная реальность. Болото это — место не туристическое, одна

морока с ним. Вон, этих мальчишек там с трудом нашли — трое суток ползали по трясине, участковый сам чуть не утонул. А если б не нашли? Кто бы отвечал?

— Ты ж тут вырос, Валерка, — не мог поверить Михась, и каждое слово его падало, будто камень. — Ты ж сам бегал на это болото за журавинами, сам рыбу на Ислочи удил. Неужто тебе самому не жалко?

Валерка поморщился, заерзал на стуле, но промолчал.

— И что теперь, — продолжал Михась. — Свое же, родное, топором под корень? И все за то, чтобы болото у нас отняли?

Валерка развел руками, и в этом жесте было что-то такое усталое, примирительное, что Михася аж передернуло.

— Да, Михась, все. Устали от этой грязи… Хоть заживем по-человечески. А болото это… ну, сколько можно? Пора с ним кончать.

Михась стоял посреди кабинета, и в голове у него загудело, будто рой ос. Все просили.

— Свою землю… Свои травы…

— Ну трава, ну земля! Везде эта трава с землей, — раздраженно бросил Валера. — Че ты ко всему так привязался?

Михась замолчал. Горло внезапно сдавило так, что слова не шли. Да и что он мог еще сказать? «Там живет Светло, мой единственный друг, что светит мне по ночам»?

Его бы отправили к психиатру. А ведь все, что бабка ему рассказывала, оказалось правдой. Он сам, слепой старик, сидел с духом болота. Но кто ж теперь в это поверит? Кому нужны эти сказки, когда ждут удобные квартиры?

Он вернулся домой злой, уставший и разбитый. На крыльце кто-то зашевелился, и старик понял, что это Светло заждался его с новостями.

— Не вышло, — сказал Михась, садясь рядом с существом. — Глухие они. Слышать ничего не хотят, да и видеть тоже.

— Да они никогда не видели, — с грустью ответил Светло. — Только ты и видишь.

— Не дуры, я же слепой.

Они оба притихли, и болото затихло вместе с ними, будто почуяло, какая гроза над ним собирается, и затаилось в испуге.

А затем Светло громко произнес, полоснув тишину как ножом:

— Я пойду!

— Куда?!

— К ним. Пусть увидят, что у болота есть хозя-

ин! Может, тогда не тронут.

— Нет, — отрезал Михась. — Забьют тебя или поймают и повезут в город показывать як чудо. В клетку посадят. Не пойдешь.

Но Светло не послушался, рванулся с крыльца на улицу. Михась ринулся вслед за ним, чуть не падая, но успел ухватиться за край лохмотьев, потянул к себе и обхватил щуплое сухое тело.

— Не смей. — У Михася защипало в глазах. — Не смей, слышишь? Мы справимся. Я нешта придумаю.

Светло не сопротивлялся, только замер от этого теплого и непривычного ему до сих пор объятия. И свет его стал тусклее — то ли от обиды, то ли от горьких дум.

— Хо-ро-шо. — Его плечи вдруг разом обмякли, а голос вновь стал прерываться. — Не пой-ду.

С его словами тяжесть, тягучая, как болотная жижа, опустилась на сердце старика: если осушат болото, Светло перестанет быть. Его кожа покроется волдырями, он захрипит, как рыба на песке, лишившись воды, и ветер уже не сможет пошевелить лозой, ведь лоза — это его пальцы, а они будут сломаны. И никто не вспомнит, что здесь на болоте жила душа…

Через пару дней после того разговора старик

слег. То ли от невеселых дум, то ли от весеннего дождя, что застал его на полпути к сельсовету, промочил ноги и продул до костей.

Он думал, что отлежится, но кашель только усиливался, дыхание стало трудным, в груди хрипело. Соседка, тетя Вера, забежала и ахнула: «Михась, у тебя ж воспаление! Давай я хуткую вызову». Но он лишь рукой махнул: не надо, в деревню все одно ее днем с огнем не дозовешься. «А в райцентре бы уже давно полечили, — вздохнула тетя Вера. — Ну ничего, скоро все переедем». Эти слова сломали Михася сильнее болезни: все вокруг радовались тому, от чего у него самого сердце разрывалось… Значит, все решено. Боялся он теперь уже не столько хвори, сколько, что Светло без него что удумает и выйдет-таки к людям.

А Светло теперь жил в хате постоянно. То сидел на печке, то ложился рядом с кроватью на пол, чтобы Михась чувствовал, что он здесь.

— Ничего, — сказал как-то Михась, откашлявшись. — Скоро я встану. В райцентр пойду…

Он говорил бодро, но Светло, казалось, не верил. Только посмотрел своим глазом пристально и громко вздохнул.

— Правда поправишься?

— А то! — Михась попытался улыбнуться. — Нам еще багну спасать. А это так, хворь нейкая. Што мне сделается…

— Я видел, как на болоте умирали птицы, Михась. Они садились на кочки, тяжело дыша, а потом опускали свои крылья и затихали навсегда. И лоси ко мне приходили — старые и больные. Ложились у самой воды и ждали, а потом встать уже не могли.

Михась отвернулся к стене.

— Я не лось, — сказал он с обидой. — И не птушка. Я человек. Я справлюсь.

Но сам знал, что не справляется. Чувствовал, как с каждым днем сил становится меньше, как сердце бьется все глуше, как будто оно устало даже стучать. Он понимал: его время пришло. Ему не было больно или страшно, просто усталость была такая, что сил ни на что не оставалось.

Однако перед тем как окончательно сдаться, он попросил тетю Веру, которая заглянула проведать его в очередной раз, отправить телеграмму в город.

— Кому? — удивилась она.

— Пашке. Внуку моему. Напиши: «Приезжай, дед зовет. Дело есть важное».

Тетя Вера хотела спросить, какое такое дело

могло быть у больного слепого старика, но посмотрела на его осунувшееся бледное лицо и не стала. Только вздохнула и ушла, пообещав все сделать.

Михась знал, что Пашка может и не приехать, но он должен был попытаться напоследок.

— Светло, — позвал старик чуть слышно.

— А?

— Держи.

Михась разжал кулак. На ладони лежал тот самый камень, теплый, гладкий, который Светло подарил ему год назад.

— Возьми. Я тебя так помнить буду.

— Не могу, — замотал руками Светло. — Он твой, чтобы тебе не холодно было.

— Мне ужо не надо. А тебе он напомнит обо мне.

Светло нехотя взял камень и спрятал в свою лохматую бороду.

— И еще… У меня в шкафу папка лежит. Та самая, где я все записал о багне. Мой Пашка когда приедет, ты ему отдай… — Михась перевел дыхание. — Он не даст багну погубить. Поймет, что она живая. Что там… ты.

— Передам, — сипло ответил Светло. — Только ты не уходи.

— Устал я, Светло, — прошептал Михась. — Отдохнуть мне надо.

— А как же я? Я же опять один останусь!

— Не один. — Михась слабо улыбнулся. — Унук приедет. Ты ему… свети. Как мне светил. И не бойся. Пашка хороший.

Старик почувствовал, как маленькая холодная рука Светло легла на его ладонь и едва сжала пальцы, как сжимают руку перед расставанием, когда не хватает слов.

— Спасибо тебе за все. За молоко и за имя. За то, что не прогнал, — проклокотало существо.

Михась усмехнулся краешком губ.

— Бывай, Светло.

— Ты не спеши, — ответил тот. — Я посижу еще.

К утру Михась умер во сне, так и не открыв глаз. Светло сидел рядом до рассвета, держал его за руку. А когда взошло солнце, лозовик тихонько вышел из хаты и побрел к болоту. У самой воды он остановился, еще раз обернулся на хату, ладошкой проведя по мокрой щеке, и шагнул в тину. Болото над ним сомкнулось, будто и не было его…

* * *

Наутро Павел собрал вещи, запер дверь и сел в машину. Но вместо того чтобы выехать на проселочную дорогу, вдруг заглушил мотор. Посмотрел на покосившийся забор, на глухие ставни, которые почернели от времени и вечной сырости. Он вздохнул, вылез из машины и пошел на кладбище. Хоть проститься с дедом еще раз, по-человечески, раз уж приехал.

Могила деда стояла у самой ограды — свежий холмик с деревянным крестом и венками от соседей. Павел опустился на колени, провел ладонью по земле. Дед с фотографии посмотрел на Пашку серьезно и с грустью в глазах, словно говорил: «Ну что, унучок, наконец-то ты пришел…»

Павлу от этого взгляда стало совестно, он закрыл глаза, и перед ними волей-неволей возникло то самое лето. Как он вместе с дедом сидел на крыльце, как тот рассказывал про болото, и как Пашке это понравилось. Пашке тогда казалось, что дед знает каждую кочку, каждую травинку, каждый клик птицы, который раздается над водой.

А потом его забрала мама, и все оборвалось. Он тогда хотел остаться, честно хотел. Даже думал сбежать из города и уехать к деду насовсем. Но

не решился спорить с матерью, не нашел в себе сил перечить, побоялся, что она его из-под земли достанет. Потом начался колледж, потом зачеты, новые друзья, новые заботы. Он все откладывал звонок деду, все думал: «Вот сдам экзамены, вот устроюсь на работу, вот накоплю денег на билет и поеду». Но время шло, и каждый год казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, и вот тогда — обязательно. А потом стало казаться, будто того лета и вовсе не было, будто оно ему приснилось: ни деда, ни болота, ни тех долгих вечеров на крыльце, когда время замирало и хотелось, чтобы ночь никогда не кончалась.

И сейчас он стоит у свежей могилы и понимает, что уже ничего не исправить. Никогда.

— Прости, дед, — тихо сказал Павел, провел ладонью по шершавому дереву креста и уже собрался уходить, когда заметил на могиле что-то странное…

Под одним из венков лежала старая папка из плотной бумаги. Павел нахмурился: он ее туда не клал. Может, кто из местных оставил? Повинуясь инстинкту, он поднял папку и открыл. Внутри лежали листы, исписанные крупным неуклюжим почерком. Кто-то выводил буквы старательно, но рука, видно, его уже плохо слушалась. Там

были названия растений, зарисовки птиц, схемы с пометками: «глухая лоза», «журавлиный мох», «черный остров»…

А в конце Павел нашел письмо. Он перечитал его дважды.

Унучек, если ты это читаешь – значит, меня уже нет. Мы с тобой почти не знали друг друга. Дочка моя эту землю не любила, да и меня, наверное, тоже. Но ты приехал – значит, я надеюсь, ты не забыл наше с тобою лето. И что Багна помнит моего отца и его отца. Она должна остаться и после нас. Я тут все записал про нее, как умел. Не дай ее осушить! Там не одни звери живут. Там друг мой, Светло. Ты его увидишь, если захочешь. Не бойся, он добрый. Просто старый и одинокий, как я. И он тебя не обидит. Мы с ним столько ночей проговорили, что я понял: у багны есть душа. И душа эта – Светло. Он тебя научит слушать, как багна дышит, раз уж я не успел.

Твой дед Михась

Павел медленно закрыл папку и посмотрел на могилу, потом на болото, которое темнело за

оградой кладбища. Ему почудилось, что кто-то наблюдает за ним оттуда, из-за камышей, и ощущение это было таким сильным, что он даже замешкался. На одно короткое мгновение ему почудилось, что оттуда на него глядит маленькая сгорбленная фигурка, но он моргнул, и видение исчезло, остался только ровный огонек. Он не мигал, не двигался, а просто смотрел прямо на него, будто… присматривался.

— Светло? — неуверенно сказал Павел, сам не понимая, верит он в это или нет.

Огонек качнулся, словно кивая, и медленно растворился, оставив после себя только легкое тепло, которое разлилось по груди и опустилось куда-то в самое сердце.

Павел вспомнил экскаваторы у дороги, которые скоро должны прийти сюда, представил, как спустят воду и все это исчезнет навсегда. А потом посмотрел на небо, на звезды, на тихую гладь, на камыши, которые шевелились, будто кивали ему, и побрел обратно…

Возле машины он достал ключи и уже хотел было садиться, как вдруг зазвонил телефон.

Это была мать.

— Павел, ты где? Уже выехал? Я тут компенсацию посчитала, если быстро все оформить, то

хватит на первый взнос за двушку в Минске!

— Мам, я пока не уехал, — сказал Павел и сам не понял, зачем сказал это именно сейчас, а не соврал, что уже в пути. — Я тут на кладбище ходил, к деду. И нашел его папку с записями…

— Какими еще записями? — раздраженно произнес голос на том конце трубки. — Ты что там еще забыл?

— А почему мы не приезжали? — вместо ответа вдруг спросил Павел, чувствуя, как внутри поднимается что-то тяжелое и давно забытое.

— Ну не приезжали и не приезжали… К чему ты это вообще?

— А помнишь, тогда, тем летом, когда мы уезжали, ты в машине сказала, — произнес Павел медленно, будто собирая воспоминания, которые двадцать лет пролежали на дне, по кусочкам. — «Не плачь, Паша. Ну куда тебе это болото? Сейчас приедем домой, а я тебе машинку на радиоуправлении куплю». Помнишь?

Мать замолчала.

— А я не хотел машинку, — добавил Павел тихо. — Я с дедом хотел остаться. Помнишь?

— И? — голос матери вдруг стал хриплым, но она кашлянула и вернула себе твердость. — Ты же был ребенком! Дети всегда хотят не того, что им

на самом деле нужно. Что тебе в этой деревне делать было? Ни школы нормальной, ни кружков, ни развлечений. А я, между прочим, всю жизнь старалась, чтобы у тебя жизнь была лучше, чем у меня! Чтобы ты в городе жил, а не в этой глуши, где люди как вымерли.

— Поэтому ты говорила, что дед не хотел, чтобы мы звонили и приезжали? А я вырос и думал, что он меня не любит или ему все равно? — Забытые детские обиды в нем всколыхнулись, и Павел почти закричал. — А он, оказывается, на самом деле все это время ждал. Он мне телеграмму послал перед самой смертью. И письмо написал. Для меня.

Мать глубоко вздохнула, тем самым вздохом, который Павел знал с детства. Когда мать хотела, чтобы от нее быстрее отвязались.

— И что теперь? Ну да, не приезжали, потому что я не хотела! — сказала она наконец. — Так ты едешь там или как?

Все было просто. Если сейчас он сядет и выедет на трассу, через несколько часов это место станет воспоминанием. Как то лето.

Павел посмотрел на ключи в руке, потом на то самое болото, которое он когда-то полюбил. Теперь, казалось, оно смотрело на него и ждало его

решения. Что он наконец вспомнит, что значит быть дома. И кажется, надеялось.

Мать Павла еще что-то говорила, но он ее уже не слышал.

— Пока, мам, — лишь сказал он и повесил трубку.

Где-то у самого края болота вновь вспыхнул огонек.

В машину Павел так и не сел…

Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Анна Неплюева*
Ответственный редактор *Ольга Мигутина*
Литературный редактор *Наталия Колмакова*
Креативный директор *Яна Паламарчук*
Иллюстрация на обложке и авантитуле *Максим Митенков*
Оформление блока *Ольга Неходова*
Леттеринг *Вера Голосова*
Корректоры *Дарья Журавлёва, Мелания Быкова*

ООО «МИФ»
mann-ivanov-ferber.ru